

Б И Б Л И О Т Е К А



ОГОНЁК

№ 27

1979



Елена ПЕТУШКОВА

**ДВЕ ПОЛОВИНКИ
СЕРДЦА**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

Елена ПЕТУШКОВА

ДВЕ ПОЛОВИНКИ
СЕРДЦА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1979

Е. Петушкова
Товарищ
Коллектив
Переноси
на сердце
24.2
суббота

Елена ПЕТУШКОВА

Елена Владимировна Петушкова родилась 17 ноября 1940 года в Москве. Конным спортом занимается 23 года в обществе «Урожай». Многократная чемпионка СССР, чемпионка мира в личном и командном зачете, серебряный призер Олимпиады 1968 года и чемпионка в командном зачете 1972 года.

Елена Петушкова — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры биохимии Московского университета.

За спортивные достижения заслуженный мастер спорта СССР Елена Петушкова награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть».

Когда мне придется расстаться со спортом, я перестану ходить на соревнования. Не буду близко подходить к лошадям. Даже в цирке не стану бывать, чтобы не вдыхать знакомый и зовущий сладковатый запах конюшни. Слишком сильную это будет вызывать тоску, от которой нет лекарства, нет противоядия.

Прежде я искренне считала и говорила, что спорт для меня — всего лишь увлечение, по-новомодному — «хобби», а основное в жизни — работа, но однажды обнаружила, что для людей, для общества представляю интерес лишь как спортсменка. Вначале меня это даже шокировало — неглавное во мне заслоняло от людей главное. Но потом я поняла, что для меня самой нет здесь главного и неглавного: то и другое — две половинки моего сердца.

Наука и спорт — это вся моя жизнь, два мира, в одном из которых превалирует наслаждение разума, в другом — накал страстей, и они дополняют друг друга. Когда это двуединство распадется — а это когда-нибудь наступит, — я и стану даже издали отворачиваться от лошади, чтобы не бередить душу.

1

Впервые в жизни очутившись в седле, я почувствовала себя хотя и неуютно — очень почему-то высоко над землей, — но терпимо. Однако лишь раздалась команда «Рысью ма-арш!», я ощутила сильнее толчки, непрерывно следовавшие один за другим. Седло вдруг оказалось необычайно скользким, и каждый следующий толчок заставлял меня сползать то вправо, то влево... Я было решила, что мой караковый Избыток вознамерился избавиться от меня и брыкается наподобие дикого мустанга. Однако он всего-навсего двинулся вперед неширокой рысью. Но во мне с подозрительным упорством росло желание очутиться на земле — не на четырех чужих, а на собственных двух ногах.

Но, как ни странно, я все еще была в седле.

Больше того — через несколько минут в движениях Избытка проступил для меня определенный ритм. Поймав его, я стала приподниматься на стременах, так сказать, через раз. Кажется, что-то начинало получаться.

Тренер смотрел на меня, как мне почудилось, с живейшим интересом. Я была уверена, что его волнует только один вопрос: когда девчонка наконец свалится?

Но я ошиблась. Тренер подошел к маме и спросил, ездила ли я верхом раньше. Услышав, что не ездила, недоверчиво покачал головой.

А ведь я действительно была в седле впервые, и мои неожиданно обнаружившиеся способности по части посадки вряд ли можно было объяснить наследственностью — тем, например, что мама в годы своего детства любила в деревне ездить в ночное, выменивая это счастье за железную банку монпансье у мальчика Васьки Котла.

Я не питала особой склонности к спорту. Росла робкой домашней девочкой, несмотря на старания мамы сделать меня деятельной, независимой, умеющей давать сдачи. Помню себя в подъезде нашего дома в Старопименовском переулке, у пыльного окна. Мама отправляла меня гулять, а я осмеливалась выйти во двор, лишь когда не было риска столкнуться с мальчишками — существами другой породы, непонятными, шумными и опасными, которые при случае могут расквасить тебе нос или отобрать санки. Если же риск был, я предпочитала, томясь от безделья и скуки, простоять положенный для гулянья час в подъезде и вернуться потом к любимым книгам.

Я читала запоем — когда родители гасили свет, читала под одеялом с фонариком. Меня привлекали серьезные «взрослые» книги и в то же время Майн Рид, Фенимор Купер, Дюма, мне хотелось уметь стрелять, фехтовать, ездить на лошади. Так называемые чисто женские занятия — шитье, вышивание, вязание на спицах — меня никогда не притягивали и до сих пор вызывают раздражение, хотя я не принадлежу к нетерпеливым натурам. Но мечты о лихих мужских делах были пассивны: я играла гаммы на рояле, получала начиная с первого класса похвальные грамоты и скрывалась от шумного мира в подъезде.

Моя любовь к прогулкам усиливалась от убеждения, что это неинтересное, бесполезное времяпрепровождение и от него надо любым способом избавиться... Оставляя папу, маму и бабушку в приятном заблуждении, что ребенок дышит свежим воздухом, я отправлялась прямым сообщением прямо в школу, в какой-нибудь кружок: биологию, химию, физику, математики...

Одно время самым заманчивым для меня был кружок драматический. Я играла главную роль в сцене из повести Гайдара «Школа»: на мне были синие лыжные шаровары, а тогдашние мои длинные толстые косы спрятаны под старую кепку, в которой папа ездил на рыбалку. Толстая девчонка из соседнего класса по прозвищу «Понька» изображала кадета — как Арлекин, лупила меня по голове бумажной палкой, и я, как Пьеро, валилась за кулисы.

Моя артистическая карьера завершилась тогда печально. В шестом классе мы учили на украинском языке стихотворение Шевченко «Заповіт»; преподавательница литературы пришла к выводу, что я декламирую его выразительно и с чувством, и рекомендовала меня в программу концерта для избирателей. Я смело вышла к краю сцены; перевела дыхание и начала: «Як умру, то поховайте мене на могили...» Публика сосредоточенно молчала, очевидно, проникнувшись серьезностью темы. И вдруг я почувствовала, что зал меня словно гипнотизирует и я не помню дальше ни строчки. После маленькой паузы я снова произнесла: «Як умру, то поховайте...» И опять — стоп. У меня ноги одеревенели. Послышались смешки. «Як умру», — в третий раз пролетела я и под общий хохот опростетью кинулась со сцены.

Этот эпизод можно было бы не вспоминать — он похож на многие, описанные в рассказах для детей и о детях, но я привожу его в качестве иллюстрации одной из черт своего характера. Всю жизнь я страдаю от того, что мне трудно входить в контакты с людьми, выступать в аудитории, вообще говорить что-то на людях. Отчасти причина моей застенчивости — повышенное, болезненное самолюбие: я боюсь, что сказанное может быть сочтено недостаточным умным. Помню свои муки на еженедельных заседаниях нашей кафедры биохимии МГУ — это когда я уже стала аспиранткой. На этих заседаниях кто-нибудь из сотрудников делал сообщение, а затем любой из желающих мог задать вопрос или высказать соображение. У меня были соображения, но я молчала, не умея себя преодолеть, и когда однажды решилась, голос дрожал, все внутри дрожало, на глаза наворачивались слезы. Первый шаг — всегда самый трудный. Смелость нужна не только для того, чтобы преодолеть свою робость. Она нужна в науке, чтобы доказывать и отстаивать идеи, не бояться ошибок.

Этой смелостью, умением преодолевать себя я целиком обязана спорту. Он научил меня владеть собой, своими эмоциями; стрессовое состояние вообще присуще спорту, естественно для него. Когда я была начинающей спортсменкой, то даже маленькие соревнования настолько выводили меня из себя, что я

переставала спать по ночам за три дня до старта, а выступление заканчивалось слезами где-нибудь в деннике — своего рода эмоциональной разрядкой. Сейчас я сохраняю полное самообладание даже во время чемпионатов мира.

Волнуюсь ли я при этом? Безусловно, самообладание не синоним спокойствия, оно лишь не дает прорваться излишнему волнению, оставляя хозяином положения не эмоции, а разум.

Излишнее волнение — это рассредоточенность, а конкретность цели, присущая спортивным соревнованиям, заставляет сосредоточиться и, следовательно, совладать с волнением. Я, например, всегда волнуюсь, когда надо выезжать в манеж, на старт. Но я знаю, что мои ощущения передаются лошади, что мои действия могут отличаться от тех, к которым лошадь привыкла на тренировках, и она, значит, станет иначе на них реагировать, она в состоянии поступить непредвиденно. Следовательно, я обязана взять себя в руки, и эта главная мысль, этот приказ, отданный себе, вызывает нужную волевою концентрацию.

Но наукой давно установлено — и это знают на собственном примере артисты, профессиональные лекторы, спортсмены, — что когда ты не взволнован, когда слишком спокоен, это не к добру. Отсутствие должного подъема, накала мешает показать все, на что ты способен, и больше, чем способен. И если ты не взволнован, то не взволнуешь аудиторию, не найдешь с ней контакт. Если ты не взволнован, то не выступишь в соревнованиях чуть лучше, чем в принципе ты способен, но ведь это «чуть» и приносит победу.

...Актрисой мне пришлось ощутить себя еще однажды — много позже, на втором курсе университета. В Москве был впервые организован мюзик-холл, и для программы «Когда зажигаются звезды» понадобилась лошадь. К нам в клуб обратились с этой просьбой, сказав, что, если лошадь сможет немного потанцевать, будет неплохо, а в придачу хорошо бы и всадника.

Программу вели Лев Миров и Марк Новицкий. Они играли в «живые шахматы», Миров, естественно, проигрывал и в запальчивости кричал: «Дайте мне коня, и я выиграю!» Неожиданно ему вывели живого коня — мою тогдашнюю темношоколадную кобылку Каплю с крупом, расчесанным в виде шахматной доски (эти шашечки делаются просто — мокрой расческой надо водить по шерсти в двух противоположных направлениях). Дальше следовала забавная сцена, потом Миров представлял в лошади стул, залезал в седло и удалялся, скрючившись, но торжествуя победу. Потом объявляли: «Высшая школа верховой езды! Выступает студентка МГУ Елена Петушкова». Капля исправно совершала пару пируэтов, менку ног и

пассаж, а у меня над прической «конский хвост» колыбался огромный голубой бант — такое было режиссерское решение.

Мои «гастроли» продолжались девять дней. Дальше начались занятия, мюзик-холл уехал, и программа ничего не потеряла: в других городах Мирову выводили местного упряжного сивку. Я до сих пор храню номер журнала «Цирк» с рецензией, в которой написано: «Спортсменка, наверное, не худо действует в манеже конно-спортивной школы, но на сцене выглядит неинтересно».

2

Из всех моих многочисленных детских увлечений одно прочнее всего проросло во взрослую жизнь — увлечение животными.

Сначала от него страдали родители — они были подлинными жертвами «зоологических страстей» дочери.

В восьмиведерном аквариуме, несмотря на множество прочитанных книг, было невозможно установить биологическое равновесие: улитки размножаться не хотели, гуппи очень хотели, и от них никак нельзя было избавиться, ценные и редкие рыбы имели подозрительную склонность быстро подыхать.

Затем семья двинулась вверх по систематической лестнице живых существ, перейдя к более высокоорганизованным — в доме появилась черепаха. Она любила, когда ей чесали шею, и поражала тем, что не хотела спать зимой. Это вызывало дополнительные трудности — надо было выращивать для нее салат. Однажды на Новый год я скормила ей три свежих огурца из пяти, преподнесенных нам как редкий в то время деликатес. Потом мы узнали, что причинами бессонницы черепахи были хорошее питание и теплая батарея, под которой мы ее поселили.

Вслед за черепахой появился лисенок. Очаровательное создание, озорное и нахальное, по кличке Лизка. Была она воровата, любила страдать на даче соседских кур и кроликов, причиняя всяческие нам неприятности. Поразительно умела прикидываться умершей: обмякала, закатывала глаза, и ее можно было поднимать вверх за лапы — голова и хвост бессильно свисали. Что с ней ни делай, все бесполезно — только решив, что достаточно нас напугала, она оживала и принималась носиться по комнате.

Осенью, когда Лизка выросла в настоящего зверя, мы унесли ее подальше в лес и отпустили, и только позже узнали, чем был чреват наш легкомысленный поступок. Пожив в обществе человека, дикие животные теряют способность приспособля-

ливаться к жизни, естественной для сородичей, и быстро погибают. Именно поэтому знатоки природы настоятельно рекомендуют не вмешиваться, если вы вдруг увидите в лесу птенца, выпавшего из гнезда, зайчонка, который, как вам кажется, остался без мамы. Без вашего вмешательства у животного больше шансов выжить, нежели после того, как вы поддержите его у себя дома и потом отпустите.

После Лизки пришла очередь фокстерьера Джолли — он доставлял много забот и хлопот, но опять-таки не мне, а родителям.

Мне не хотелось бы, чтобы строгий читатель решил, что в детстве меня баловали, потакая всем прихотям. Родители прекрасно знали, когда надо сказать «нет», и говорили это достаточно твердо.

Но они поощряли тяготение детской души ко всему живому, понимали, что общение с четвероногим существом, нашим младшим братом, делает нас добрее и мудрее.

В глазах людей, не любящих животных или никогда не имевших с ними дела, все «собачники» и «лошадники» немножко ненормальны. С их точки зрения, хлопоты собаководов (на этом примере мне легче выразить свою мысль) — просто чудачество и блажь. Бывает, посетуешь, что не можешь всей семьей уехать в отпуск, потому что не с кем оставить собаку, а тебе в ответ: «Отнесите в ветполиклинику, там ее усыпят, и вся недолга». Мороз по коже от такого совета.

Иные городские «заботливые» родители воспитывают в детях боязнь животных, неприязнь к ним: «не подходи к собаке, укусит», «не трогай кошку, заразы наберешься». И вот «образованный» таким способом ребенок при виде животного ревет, как парходная сирена, прячась за мамину юбку, или, наоборот, размахивает совком, норовя стукнуть его по голове. А потом родители удивляются, откуда вдруг в ребенке черствость, жестокость, даже садистские наклонности.

Когда живешь в большом городе, порывается связь с природой. Именно поэтому, скажем, массовый туризм, который мог бы способствовать налаживанию такой связи, превратился в эффективное средство порчи природы. В одной телепередаче я слышала, что за воскресенье в подмосковных лесах уничтожается несколько тысяч молодых здоровых деревьев. Не на костры, нет, боже упаси, туристы — люди грамотные: для костров используют сушняк. Но палатки-то надо поставить, шалаш соорудить, котелок на что-то повесить.

Кстати, в другой подобной телепередаче давались советы, как все это лучше сделать, деревья каких пород более подходят для таких целей.

Природа мстит за пренебрежение к себе. Жалости достоин тот, кто утратил связь с природой и не стремится вновь обрести ее. Он сам не сознает, как беден духовно.

Но не одной только тягой к природе объясняется желание завести, например, собаку или заняться верховой ездой, сделавшейся сейчас чем-то вроде моды. Почему человеку дорого животное, которое он приручил? Отчасти потому, что нам дорого все, во что вложен наш труд, любовь, страсть. Любимое дело — частица тебя самого.

Однако это не единственная причина. Живое существо стоицей платит за заботу и радость общения с ним — оттого, что оно тебя понимает, что любит бескорыстно — заставляет забывать обо всех трудах. Животное не умеет предавать, быть подлым. Оно твой друг до последнего дыхания.

Лошади — прекрасные, благородные создания: человек, способный чувствовать красоту, не может оставаться к ним равнодушным. Джек Лондон писал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы мужчина ради женщины, лошади и собаки. Сказано чересчур сильно, но зерно истины в этом есть...

Для удовлетворения этой тяги иному человеку из среды конного спорта не обязательно иметь свою лошадь или участвовать в соревнованиях. Ему достаточно жить в этой атмосфере, дышать этим воздухом, и он будет счастлив. Помню, я случайно услышала разговор двух мужчин. Один, бывший конник, давно уже сам не выступал, но по должности был связан со спортом. Возраст его приближался к пенсионному, и он сказал своему собеседнику, что ему предлагают хороший пост — на свежем воздухе. Директором санатория. И второй изумленно, гневно воскликнул: «Неужели же ты на какой-то санаторий променяешь лошадь-дей?»

Итак, если большой спорт — это большая страсть, и страсть к животным — большая страсть, то какой же она становится огромной, сливаясь воедино — в конный спорт!

Преданность конника лошадям и всему, с ними связанному, можно сравнить с преданностью моряков морю и летчиков — небу.

Я училась в девятом классе, когда увидела на улице объявление о том, что в Сокольниках организуется прокат лошадей. Мой опыт верховой езды ограничивался осликом в зоопарке —

по кругу. Но и этот круг был для меня огромным, сладостным переживанием.

Объявление я прочла и ввиду некоторой пассивности характера и робости восприняла его абстрактно: ах, мол, хорошо бы... Тут же, конечно, появились сомнения: а вдруг надо мной станут смеяться, а вдруг там мальчишки? Конечно, только мальчишки...

Но загорелась мама, и за маминой спиной я, естественно, почувствовала себя спокойнее.

Публика собралась разная — не только мальчишки, но и девочки, и взрослые тоже. В нашей группе был инженер, гримерша с «Мосфильма», был слесарь — он пришел с сыном, и этот мальчуган, Гена Самоседенко, стал впоследствии членом сборной страны по преодолению препятствий.

Вышел молодой тренер — Юрий Иванович Максимов (ныне он начальник нашего конно-спортивного клуба «Урожай»). Он вынес большой фанерный лист с кличками прокатных лошадей. Эти клички показались мне странными, экзотическими. Я не знала тогда, что в имени лошади должны быть первая буква имени отца и первая буква имени матери. Например, Пепел звался так (хотя был не серым, не пепельным, а вороным), потому что его отец — Пилигрим, мать — Полюнь. Мой нынешний Абакан — от Абсента и Алупки.

В тот первый раз, как я уже говорила, мне достался карачовый кабардинский конь Избыток, и я неожиданно для себя поймала ритм его рыси.

Прокатные лошади — существа особого рода, опытнейшие и хитрейшие создания. За долгие годы общения с людьми они обстоятельно изучили «гомо сапиенс» и не без оснований пришли к выводу, что обвести его вокруг пальца — ну, скажем, вокруг копыта — дело довольно простое.

Как только в седло садится человек, берущий с особым шиком поводья и хлыст, лошадь уже знает, с кем имеет дело. Если его наигранная уверенность — только поза, если это новичок, то будьте спокойны: через несколько минут вид у него будет жалкий.

Он пытается заставить лошадь перейти из шага в галоп, но ей этого страшно не хочется. Он дергает повод, бьет ее пятками, хлыстом, кричит — лошадь неподвижна. Она не нервничает, она чувствует себя хозяйкой положения. Стоит себе в центре манежа, пока тренер не хлопнет бичом. Тогда все прокатные лошади стайкой бросаются в стороны, делая вид, что ужасно испуганы, и новички сыщутся с них, точно спелые груши.

Интересно, что лошади чувствуют не силу всадника, а именно опыт, и скорее слушаются маленькую и слабенькую, но уме-

ющую ездить девочку, нежели сильного, здорового, неумелого парня.

К мексиканской Олимпиаде мы готовились в Цахкадзоре. Там представители многих видов спорта проходили акклиматизацию на среднегорье. По вечерам мы ездили на лошадях на прогулку в горы. Однажды нас упросил взять его с собой известный борец-полутяжеловес Борис Гуревич, могучий атлет с великолепной фигурой: он позировал Вучетичу для знаменитой скульптуры «Перекуем мечи на орала», стоящей перед зданием ООН в Нью-Йорке. Ему дали многоопытную пятиборную лошадь, он взобрался на нее, а я, сидя на Пепле, взяла повод и повела за собой. Однако, когда мы проезжали мимо столовой, где всегда было довольнолюдно, Бороно самолюбие взвырвало, и он потребовал повод. Лошадь тотчас стала как вкопанная. Я сказала: «Дави ее ногами». Боря сжал бока могучими ножищами — никакого впечатления. «Пятками». Звук был как на барабанах — результат тот же. Короче, кончилось тем, что лошадь преспокойно отвезла бедного Борю к себе на конюшню.

Меня, кстати, всегда удивляет упорное стремление лошадей «домой». Казалось бы, стоя двадцать два часа в сутки в тесном деннике, они должны радоваться свободе, возможности побаловаться. Но даже самые молодые и энергичные очень неохотно идут от конюшни, а назад, хотя бы после тяжелой и утомительной работы, готовы нестись во весь опор. Если дать лошади одной, без всадника, побегать в манеже, то после десяти — пятнадцати минут дикой скачки, прыжков и вставания на дыбы она успокаивается и тотчас устремляется в свой денник.

Итак, я увлеклась конным спортом. Вернее, спортом это для меня не было — просто нравилось ездить верхом. Я приобрела в Военторге шпоры: только их не хватало для полного счастья. В те годы кавалерия еще существовала как род войск и шпоры продавались свободно. Правда, в Сокольниках моя обнова вызвала реакцию не уважительную, а насмешливую: мне объяснили, что так — колесиками вверх — шпоры носил Юрий Долгорукий, который напротив Моссовета, а в двадцатом веке носят колесиками вниз...

Раздобыла книгу «Учись ездить верхом» знаменитой спортсменки А. М. Левиной. Таскала ее с собой в школу, и однажды учительница географии потребовала положить ей на стол то, что я читаю, а заодно дневник. Это ввергло меня в полную панику — даже обыкновенная четверка была для меня трагедией, а замечание в дневнике граничило с катастрофой. Но брошюра о верховой езде, отобранная у Лихони, столь изумила географичку, что наказания я избежала.

В конце первого года обучения я выполнила норму третьего разряда по преодолению препятствий. Правда, такой результат зависел больше от лошади, чем от всадника — хороший, опытный прыгун сам все мог проделать, без поуканий. А мне, к счастью, достался могучий вороной Баркас, которому было уже 16 лет, но он продолжал верой и правдой служить в учебной группе. Он вихрем пронес меня через все невысокие, 90-сантиметровые препятствия. Вечером мы с мамой открылись папе, который очень боялся за меня и решительно возражал против этих моих занятий. Он был слегка рассержен, но в то же время горд за дочь.

До этого момента, как я говорила, я не ощущала себя спортсменкой. У меня никогда не было физической выносливости, разве что неплохая координация движений — я прилично играла в пинг-понг, плавала, гребла, а когда позже, в МГУ, сдавала нормы ГТО по лыжам, тренер рекомендовал мне заняться лыжными гонками: «У вас очень правильная техника».

Но вот, получив третий разряд, я испытала перелом, почувствовала счастье и гордость. Прежде все, что я делала, сидя в седле, было выполнением посильных заданий. Но, видно, количество перешло в качество — в меня вошел спорт. Крохотный в общем-то успех породил ни с чем не сравнимое ощущение полета души, когда грудная клетка словно расширяется и ты как воздушный шарик — ты летишь.

Второй раз я чувствовала такое, когда стала чемпионкой мира.

Во мне нет жажды победы. Она для меня не самоцель, а награда. Я просто каждый раз стремлюсь показать свой труд, «товар лицом» — все, на что способна, и еще чуть-чуть. Когда это удается, я могу быть счастливой, даже не заняв высокого места, а победы — самые крупные, разумеется, — содержат для меня всегда элемент неожиданности.

Это не только в спорте — это и в научной работе, во всех моих делах. С детства я воспитана в строжайших принципах добросовестности, тщательности, терпения, и эти качества подошли именно к моему виду спорта, к выездке, об особенностях которой я буду говорить ниже.

С первого по восьмой класс я занималась музыкой, и, честно сказать, не очень любила это занятие. Первое время маме приходилось сидеть возле пианино, когда я играла гаммы и этюды. Только став взрослой, я оценила ее усилия, как и то, что в свое время родители вынуждены были продать единственную мамину драгоценность — каракулеву шубу, чтобы купить для меня инструмент. У меня мало свободного времени — может быть, два-три раза в год удастся положить руки на клави-

ши, но когда звучит музыка и на сердце становится легче, я с благодарностью думаю о маме.

Усидчивость, очевидно, черта не только врожденная. Усидчивость вырабатывается в детские годы путем непрерывной тренировки, и в первое время необходим контроль со стороны взрослых. Контролировали и меня. Но это был не тот контроль, когда у тебя стоят над душой, теряя самообладание и терпение от малейшей твоей неточности, видя в ошибке чуть ли не крушение семейных надежд.

Говорят об эгоизме ребенка, а разве нет родительского эгоизма? Разве поступки родителей не диктуются подчас их честолюбивыми устремлениями? Разве не этим вызываются решения «семейных советов», идущие вразрез с желаниями, способностями, характерами детей?

Да, мама сидела рядом со мной возле пианино, пока я не привыкла к занятиям музыкой. Сидела рядом во время приготовления уроков — в первые школьные годы. Но я вспоминаю это как ее соучастие в нашем общем с ней интересном деле. Это дело было для меня тем значительнее, чем серьезнее относились к нему взрослые: ведь и папа, посвящавший мне крохи свободного времени, которые у него были, считал мои маленькие школьные проблемы не менее ответственными, чем свои государственные дела.

Мама привыкла работать с четырнадцати лет и очень тяготилась тем, что вынуждена была сидеть дома. Это была ее жертва мне и папе. Домашняя работа однообразна, неблагодарна, бесконечна. Но мама твердо решила, что папа ни о чем не должен заботиться, кроме службы, я — кроме учебы. Я была избавлена от хозяйственных хлопот, хотя это не сделало меня белоручкой: своими делами я занималась с усердием и прилежанием. Но никогда, ни за что я не добилась бы того, чего добилась, если бы не мамина забота, папино доверие и тепло, та атмосфера любви и понимания, которая царила в нашем доме.

Жаль, что это сознание приходит только с годами. Страшно, если приходит оно слишком поздно или не приходит совсем.

4

Наступил 1958 год. Он был знаменателен для меня тремя событиями сразу. Я сдала вступительные экзамены на биологический факультет МГУ. Мне предложили заняться выездкой.

Я получила персональную лошадь. О каждом из трех со- бытий надо говорить отдельно.

Почему я пошла именно на биофак, очевидно, уже более или менее ясно. Я любила животных, и среди книг, которыми увлекалась в детстве, у меня были красочное издание «Море живет» Тарасова (о морских животных) и потрепанный том издании Брокгауза и Ефрона «Рыбы и гады Российской империи» (гадами прежде называли пресмыкающихся). В седьмом классе я углубилась в химию под влиянием нашей преподавательницы Марии Николаевны Коробковой, совсем юной, очаровательной, синеглазой, влюбленной в свой предмет. Родители опасались, что химия вредна для здоровья, но когда я была в десятом, им кто-то рассказал, что есть кафедра биохимии (в те годы и слово это звучало необычно). Школу я окончила с золотой медалью, однако в пятьдесят восьмом льготы меда- листам были отменены, я сдавала на общих основаниях. Ходи- ли, как всегда, слухи, что экзаменаторы задают какие-то осо- бенно наверзные вопросы. Правда, теперь, сама принимая экза- мены, могу категорически утверждать, что спрашиваем мы — чак и в ту пору спрашивали — только по школьной программе. Короче, в МГУ я поступила.

Выездкой мне предложил заниматься один из тренеров на- шего клуба — Владимир Афанасьевич Васильев. Я не имела об этой спортивной дисциплине ни малейшего представления, как не имеют, очевидно, иные из читателей, поэтому им при- дется набраться терпения на коротенькую лекцию.

Выездку, или высшую школу верховой езды, можно назвать фигурной ездой на лошади. На площадке размером 60 × 20 метров всадники в течение 10—12 минут выполняют около 30 различных фигур обязательной программы. Виды соревнова- ний — Малый приз, или Сан-Георг, Средний и Большой — Олимпийский — призы.

Наиболее сложные элементы — смена ног на галопе (чаще мы говорим «смена ног»), пассаж и пиаффе.

Менка очень красива, дословный перевод этого термина с английского — «летающая смена ног», и когда лошадь попере- менно идет то с правой, то с левой ноги, перебирая ими на весу, чередуя выпады в тот момент, когда она уже оттолкнулась от земли, это действительно создает ощущение полета.

Пассаж, как сказано в международных правилах, — высокая укороченная рысь, при которой лошадь словно зависает в воз- духе. Пассаж многие видели в цирке, это один из любимых элементов, исполняющийся под «Яблочко» или «Барыню». А пиаффе — пассаж на месте.

Выполнение пассажа и пиаффе в соревнованиях сопряжено для лошади с определенной психологической трудностью. В ос- новной программе Большого приза, которым определяется, в частности, командный результат, пассажем все заканчивается. Лошадь грациозно движется пассажем к судьям, останавлива- ется, всадник или всадница снимает цилиндр (военные берут под козырек), благодаря за судейство. Но на следующий день назначается так называемая переездка — финальный турнир для 12 спортсменов, лучших в личном зачете, и в его програм- ме, в той самой точке, где вчера все завершалось пассажем, следуют еще десять тактов пиаффе. Так вот, лошадь никак не может понять, почему вчера после пассажа можно было со спокойной душой расслабиться и уходить из манежа, а сегодня надо барабанить на месте эти десять тактов. Она не хочет их отбивать, она отработала, хватит...

Кроме менки, пассажа и пиаффе, есть еще пируэты, есть принимание — лошадь движется вбок, переkreщая то перед- ние, то задние ноги, красиво изогнув корпус вокруг внутреннего шенкеля.

Ну, а половина программы состоит из того, что в прямом смысле элементами считать нельзя. Это шаг, рысь, галоп — естественные аллюры, разделенные на собранные, средние и прибавленные (по длине шага). Но то, что кажется наиболее простым, подчас оказывается наиболее сложным. Надо четко и вместе с тем плавно показать переходы из прибавленного аллю- ра, например, в собранный: в первом случае корпус лошади вытягивается, во втором сжимается, как гармошка, а шея то уходит слегка вниз, то поднимается, изгибаясь по лебединому.

Причем и в том случае и во всех остальных у стороннего наблюдателя должно создаваться впечатление полной свободы лошади: всадник на ней только сидит, а она все выполняет сама.

Казалось бы, чего проще — остановка. Однако лошадь должна остановиться быстро, но плавно, чтобы не казалось, что она наткнулась на невидимое препятствие. Обе передние ноги и обе задние — на одной линии. Шесть секунд абсолют- ной неподвижности. Даже если она махнула хвостом, отогнав муху, это все равно ошибка. Понимаю мою полную неосведом- ленность, тогдашний начальник нашего клуба, старейший кон- ник, заслуженный мастер спорта Елизар Львович Левин принял единственно правильное решение — дать мне лошадь, которая умела что-то сама, чтобы я у нее смогла набраться опыта.

Так мне досталась арабская кобылка Капля. Она была сво- еобразным, капризным чертенком с тонкими черными ножками в белых носочках. Любимым ее развлечением было изображать,

что она чего-то боится — кур, которые бегали по двору, клочна газеты, уносимого ветром. От всего она норовила шарахнуть.

Я до сих пор не могу точно утверждать, что было притворством, а что — подлинной робостью. Позже я узнала, что лошади плохо видят и потому бурно реагируют на любой предмет необычной формы, неожиданно оказавшийся в их поле зрения, будь то солнечный зонтик, под которым сидит судья, или чей-то пестрый плащ. Важно, чтобы лошадь доверяла всаднику, тогда таких неожиданностей будет меньше. Но полное доверие тоже порой чревато неприятностями. Пепел, с которым связана большая часть моей жизни в спорте, настолько привык полагаться на меня, что, когда мы выезжали на прогулку в лес, совершенно не смотрел под ноги и спотыкался о каждый корень.

С Каплей прежняя хозяйка и рассталась в известной мере по причине пугливости. Но я была в восторге: прежде, в прокатной группе, приходилось седлать то одну, то другую лошадь, а тут — своя!

5

Первые два года выездки совпали с первыми двумя курсами университета. Бог мой, как это было тяжело! Осенью и зимой в темноте звонит в половине шестого будильник, и ты со стоном заставляешь себя вылезать из-под одеяла, думая: «Есть же на свете счастливицы, которым позволено спать до семи!» Собственно говоря, эти муки я испытываю всю жизнь: я отношусь не к «жаворонкам», а к «совам», мне лучше посидеть попозже да поспать подольше, и в воскресенье меня до полудня не добудить.

Особенно же трудно было привыкать к такой жизни после размеренных школьных лет: тут я разом окунулась в лихорадочный темп. В семь — тренировка в Сокольниках, отсюда — бегом на автобус, бегом — на метро, бегом от метро к МГУ, в аудиторию, где в десять начинается лекция.

Программа двух первых курсов на биофаке была насыщена огромным количеством разнообразных предметов, занятия продолжались до шести вечера. За двадцатиминутную перемену пообедать не успеешь, некоторые студенты просто пропускали лекцию, чтобы выстоять длинную очередь в столовую, но для меня еще и в школе сбежать с урока было выше сил. Мы с одной девочкой договорились по очереди приносить бутерброды и жевали их в перерывах, пока не услышали, как кто-то о нас сказал: «А, это те, которые все время едят». Тогда мы объявили бойкот бутербродам и бегали весь день голодными.

А вечером — сотни заданных на дом задач, оформление лабораторных и практических.

Раньше, когда я видела в метро или в автобусе спящего человека, то свысока думала: «Как он может позволить себе такое на людях?» Но теперь на себе испытала последствия вечного недосыпания. Тем обиднее было, когда однажды, пробудившись в метро от дремы, услышала рядом с собой насмешливую реплику: «Небось, нагулялась вчера?»

Для чего я все это пишу? Я ведь знаю: бывают трудности много труднее. Но пишу потому, что некоторым людям жизнь спортсменом кажется легкой и веселой, а ее аскетизм, отказ от развлечений, чудится признаком ограниченности. Помню, как студентки из нашей группы презирали меня за то, что я не ходила на лекции по истории кино, которыми они тогда увлекались: «Подумать только, это из-за лошадей-то!»

Говоря откровенно, если бы я занималась не конным спортом, а каким-нибудь другим (теннисом или подводным плаванием — я говорю о видах, которые мне сейчас особенно нравятся), то не выдержала бы такой жизни. Пропустила бы одну-две тренировки в неделю, а потом совсем бы бросила. Но когда знаешь, что в деннике тебя ждет лошадь, живое существо, которому надо двигаться, бегать... Знаешь, что если не придеши, тренер может посадить на твою лошадь кого-то другого, и тонкие, налаженные взаимоотношения пойдут насмарку...

Сумасшедшая гонка продолжалась.

Родители протестовали: теперь уже не только папа, но и мама. Однако в этом случае проявилась одна из характерных моих черт — упрямство, которое срабатывало, когда упорства и целеустремленности уже не хватало. Да, именно упрямство.

Качество, которым умело пользовался Григорий Терентьевич Анастасьев, человек, сделавший из меня чемпионку. Мне еще много предстоит рассказать о моем покойном учителе, пока же, для иллюстрации, упомяну о его излюбленной хитрости.

Хорошо изучив меня, он часто требовал прямо противоположного тому, чего добивался. Например, он говорит: «Ляля, на сегодня хватит». «Нет, нет, — протестую я, — еще пируэт, еще менку ног надо попробовать». Он делает недовольный вид, ворчит и ругается, я стою на своем, а ему только этого и надо. В другой раз: «Ляля, еще пассаж, еще пиаффе!» «Нет, нет, лошадь устала, я устала». Опять попадание в цель. Интересно, что однажды он мне раскрыл свою уловку, и все равно я продолжала неизменно попадаться на эту удочку.

...Отнюдь не для самовосхваления, но для точности изложения должна заметить, что вечная гонка между манежем и

университетом, ставшая в дальнейшем не легче, а лишь привычнее, не помешала мне учиться хорошо, получить диплом с отличием и быть принятой в аспирантуру без необходимых двух лет стажа. Я и аспирантуру умудрилась закончить досрочно — за два года четыре месяца.

Обычно по отношению к спортсменам в печати применяется формулировка: «Оставив большой спорт, он в дальнейшем добился того-то и того-то». Но я сперва защитила кандидатскую диссертацию, а потом стала заслуженным мастером спорта.

Что касается выезда, то получилось, что первые мои два года в ней дали повод считать меня бесперспективной. Со мной занималась Роза Георгиевна Никитина, тренер нашего клуба — сама изъявила желание, приходила тоже к семи утра, но шли дни, шли месяцы, а у меня ничего не получалось.

Теперь-то мне ясно, что тогда я многого не понимала в тонком деле выезда, а Роза Георгиевна, хорошая спортсменка, прекрасно умевшая выезжать лошадей, ряд вещей считала азбучными и даже не предполагала, что кто-то может их не знать. Мы говорили на разных языках и не понимали друг друга.

Однако начались очередные каникулы, я смогла ходить на тренировки попозже, заниматься не в одиночку, а со всей группой выезда, и тренер клуба Иван Акимович Жердев объяснил мне все — буквально с азов. Через две недели нас с Каплей словно подменили. Летом мы впервые стартовали в первенстве СССР — правда, только в Малом призе, — и я заняла третье место, вслед за известным мастером спорта Еленой Николаевной Кондратьевой, теперь доктором наук, профессором кафедры микробиологии нашего факультета.

Это было в августе, а в сентябре я с курсом уехала на картошку. Каплю же в мое отсутствие стали отдавать в прокат — перспективной лошадейю ее все-таки не считали. Я уже говорила о хитростях опытных прокатных лошадей, моя же Капля была спортсменкой, была добросовестна и старательно бегала по несколько часов в день. А легкие у нее и раньше были слабые. Когда я вернулась, кашляла она непрерывно — нажила эмфизему легких. Это заболевание не угрожает лошадиной жизни, но препятствует занятиям спортом. Пришлось отправить Каплю на конный завод. Я осталась без лошади.

Мне давали то одну, то другую — из тех, которых выбирали троеборцы. Я так бы ничего и не добилась, если бы не случай. Владимир Васильев ушел в другое общество, оставив свою Тину, старую, опытную, хорошо подготовленную кобылу, из тех у кого многому может научиться молодой спортсмен. Сперва ее отдали другому всаднику, но она была слиш-

ком нежна, мягка, послушна, отзывчива на ласку, в общем, «дамская лошадь». Хозяин оказался для нее чересчур суров. И олимпийский чемпион Рима Сергей Филатов, работавший тогда с группой выезда в «Урожае», настоял, чтобы Тина была моей.

Филатов являет собой фигуру чрезвычайно сложной, даже в какой-то мере трагической судьбы. Я лично ему благодарна, да что я — весь наш спорт должен быть благодарен ему, хотя характеризовать этого противоречивого человека нужно объективно, что я и попытаюсь сделать несколько позже.

Короче, я получила Тину, и дело с ней пошло так хорошо, что на очередных соревнованиях мы «объехали» многих ведущих. Потом отправились на состязания в Ленинград, где мне пророчили выполнение нормы мастера спорта. Перед стартом мне показалось, что Тина какая-то скучноватая, но Роза Георгиевна сказала: «Не обращай внимания, это после дороги». Я отъездила Большой приз, поставила Тину в денник — ее трясло мелкой дрожью. Срочно вызвали ветеринара, он обнаружил двустороннее воспаление легких. О соревнованиях не могло быть и речи. Я уехала домой, Тина осталась в лазарете.

Прошло две недели, наступил май, на деревьях лопались почки, в воздухе стоял их нежный, горьковатый аромат. Я шла в клуб через парк, наслаждаясь первым теплом. Мне встретился один наш спортсмен, начал какой-то разговор, вдруг оборвал его: «Знаешь, Ляля, ты не очень расстраивайся... Тина там, в Ленинграде, пала».

Спазм сжал мне горло, я почему-то пробормотала «спасибо» и пошла прочь, сама не зная, куда.

Я вспомнила ее добрые, кроткие глаза, печальный и покорный взгляд. Ей, наверное, было очень тяжело, но она безотказно и добросовестно, без всякого принуждения с моей стороны, выполняла все упражнения, напрягая свои последние силы.

Я не могла себе простить, что заставляла ее работать, хотя не знала о болезни, и угрызения совести гложут меня до сих пор.

Тогда я проплакала целый день, и это не женская сентиментальность — на моих глазах рыдали взрослые мужчины, закаленные конники, когда теряли лошадь, теряя преданного друга и полноправного партнера, которому, правда, от всех успехов и славы достается разве что лишняя морковка.

В нашей короткой совместной работе Тина сослужила мне огромную службу. Меня заметил на ней Григорий Терентьевич Анастасьев, главный тогда человек в нашем конном спорте.

настоял на том, чтобы меня взяли в сборную, чтобы дали Пепла. Отсюда начинается шестнадцатилетняя история дружбы с лучшей лошадью моей жизни.

6

Чистопородный вороной тракен Пепел, сын Пилигрима, считавшегося эталоном, первоначально предназначался для троеборья, он был отличным прыгуном. Но у него обнаружилось бельмо на левом глазу — видимо, уколол чем-то глаз, когда был жеребенком. Те, кто этого не знал, думали, что левый у Пепла просто голубой. Он видел им, но лишь краем, и выступать, конечно, не мог. Тогда его дали Никитиной для выездки, а она попросила Сергея Ивановича Филатова подготовить его к соревнованиям.

Победа Филатова на Олимпиаде в Риме была сенсацией. В этом старинном, аристократическом виде спорта вдруг успеха добился представитель страны-новичка. С чем сравнить масштаб событий? Разве что с победой Виктора Капитонова там же, в Риме. Тогда итальянские газеты писали: «Успех Капитонова ввел русских через парадную дверь в цитадель мирового велосипедного спорта». Но советские гончики и до того добились успехов в международных состязаниях, конников же не знал никто.

Филатов выступал на великом Абсенте, признанном лошадью века. Мягкие длинные линии, лебединая шея, необычайная легкость и грация движений были свойственны этому вороному красавцу с белой звездочкой во лбу, прославившему ахалтекинскую породу. Он прожил долгую жизнь в спорте, был третьим в Токио, четвертым в Мехико и «ушел на пенсию» в 16 лет, полный сил и энергии: по тогдашним, ныне отмененным правилам лошадь не могла стартовать в Олимпиадах больше трех раз.

Великолепная была пара — Филатов и Абсент. Сергей Иванович, несмотря на некоторую грузноватость, был чудо как элегантен в цилиндре и фраке. Необычайно эффективным казалось не только сочетание партнеров, но и выступление, оно вызывало то приподнятое состояние души, которое возникает только при соприкосновении с настоящим искусством.

Между прочим, именно Филатов, вернувшись из Рима, стал активно пропагандировать у нас фрак как костюм для верховой езды. В том именно качестве, в котором некогда фрак и был изобретен. Говорят, некоему английскому джентльмену полы длинного кафтана мешали ездить на лошади, и он сначала под-

колол их спереди, а потом совсем срезал. Так что парадная форма одежды позаимствована дипломатами, пианистами, дирижерами у кавалеристов.

Мы же в годы начала моих выступлений по выездке соревновались, обмундированные кое-как, и в «Урожае», например, имелся старый черный редингот, сшитый во время оно на Елизара Львовича Левина и передававшийся от спортсмена к спортсмену: один отъездил, отдал следующему — как эстафету.

Филатов своим авторитетом заставил нас обратиться к красивому, удобному и, главное, соответствующему международным традициям костюму — фрак и цилиндру. Вот только цилиндры, которые делают для нас в мастерских Большого театра, имеют тенденцию обращаться в нечто бесформенное, полав под дождь, а конникам приходится соревноваться в любую погоду.

Итак, из Рима Сергей Иванович вернулся героем, и его, как крупнейшего специалиста по выездке, пригласили тренером в наш клуб. Вскоре, однако, обнаружился коренной недостаток его тренерской методики — жестокость по отношению к животным. То ли это проистекало от способности увлекаться, при которой Филатов забывал обо всем, кроме цели, то ли от самоуверенности чемпиона, считающего для себя позором, если что-то происходит вопреки его воле. Наверное, и от того и от другого.

В работе с лошадью у него один принцип — «заломать». Он может по четыре часа, не слезая с седла, «ломать» волю животного, удилами, шпорами и хлыстом заставляя исполнять неполучающийся элемент. Чем больше заставляет, тем меньше у него получается. Однажды я наблюдала подобную душераздирающую картину на лесном манеже в Сокольниках. «Пойдешь, пойдешь», — цедил Филатов сквозь зубы своему Элгону, пока тот не завертелся волчком с сумасшедшим взглядом и не понесся сломя голову на конюшню, — весь в пене, и разорванный рот в крови. Элгона пришлось отправить на конный завод, для спорта он уже не годился, и так Филатов психически сломал, вывел из строя не одну лошадь. Его пробовали останавливать — он никого не слушал.

Собственно говоря, из спортивного строя он вывел и себя. Он кочует из общества в общество, из города в город, нигде его не терпят подолгу, и — где те весы, на которых можно взвесить великую пользу, принесенную им конному спорту, и великий вред?..

Но был же Абсент. Да, был — однако то ли уникальный конь обладал уникально кротким и послушным характером, то ли после триумфа изменился Филатов — уверовал в свое всемогущество. Короче, и взявшись за Пепла, он решил в три ме-

сыца добиться того, на что потребны три года. Но не тут-то было — Пепел был натурой гордой и независимой. Пепел — личность.

Возможно, слова о личности лошади кое для кого прозвучат парадоксом. Но это для тех, кто не близок к животным. «Собачник» же воспримет эти слова естественно, даже пожмет плечами: «Можно ли считать иначе?»

Однако аналогия между собакой и лошастью неточна, поскольку первая относится к хищникам, вторая к травоядным, у которых на уме прежде всего пища, пища... Да, лошадь встречает меня ржанием, она стучит копытом в дверь денника, радуется — но не оттого ли, что знает: я несу ей лакомства? Собака же радостно встречает хозяина просто так, без всяких соблазнов. Правда, есть много свидетельств о самоотверженности лошадей, о том, как они спасали жизнь конникам. Но это, должно быть, при условии постоянного контакта, а спортивную лошадь чистит и кормит один, готовит другой, ездит на ней третий. Впрочем, все это — доводы ума, сердцем чувствуешь иное. Убедена: сколько бы времени ни прошло после нашего с Пеплом расставания, он узнает меня.

Что же такое, однако, личность лошади? Нрав, характер, темперамент. Ум — точнее, способность к восприятию. Лошади очень внимательны — и на добро и на зло. Особенно на зло. Сразу и надолго лошадь запомнит человека, проявившего к ней необоснованную жестокость, и отомстит когда-нибудь. На наказание, даже справедливое, может обидеться, несколько дней «не разговаривать» — не откликаться на голос, и кусок черного хлеба хотя и возьмет из рук (соблазн велик!), но с неохотным видом.

До сих пор загадка для меня то, что наказание от человека, сидящего в седле, лошадь не связывает с ним самим. Пепел обижался, если ему от меня доставалось, так сказать, с земли: когда он, например, баловался. «Баловался» — легко звучит: представьте, что пятисоткилограммовая машина, разыгравшись, встает на дыбы, норовя — шутки ради, конечно, — слегка стукнуть тебя передним копытом по темечку.

Но, повторяю, если я его наказывала — даже строго — сидя на нем верхом, это никак не сказывалось на наших взаимоотношениях. Я слезала, и он, как собачка, бегал за мной по манежу, загораживал дорогу, выказывал полную симпатию. Он умел целоваться и на просьбу «поцелуй меня» старательно хлопал шершавыми усатыми губами по моей щеке. Правда, такой «смертельный номер» я демонстрировала не часто. В отличие от Капли, которая целовалась по-женски нежно, он не всегда

рассчитывал силы и однажды, резко вскинув головой, разбил мне губу.

...Однако до столь близких отношений было еще далеко. Поначалу, перейдя ко мне из жестоких рук, Пепел был зверь — дикий и злобный. Он ненавидел людей, в каждом ему чудился враг и мучитель.

Помню, я вошла в манеж, куда его выпустили побегать. Он был там один — шагал спокойно, опустив голову, усленно нюхал опилки и всхрапывал, вздымая их фонтанчиками. Потом, удовлетворенно хрюкнув, валился на бок, перекатывался на спину, дрыгая ногами. Резко вскакивал, начинал носиться, меняя аллюры, прыгая козлом. Внезапно останавливался перед зеркалом, словно изучая свое отражение. Словом, делал то, что делает на его месте любая лошадь.

Но тут, на свою беду, в манеж вошли два истопника — проверить батарею отопления в дальнем углу. Они привыкли к лошадям и не боялись их. Пепел атаковал незамедлительно, без предупреждения. Прижав уши, оскалив зубы, он несся со всех ног, не оставляя никаких сомнений относительно своих грозных намерений. К счастью, истопников было двое, они кинулись в разные стороны, и Пепел на секунду заколебался, кого избрать жертвой. Они перервалились через заборчик с прытью бандерильеро, прячущихся от быка.

Такое вот создание мне предстояло завтра седлать.

Сначала я около получаса кормила его через прутья решетки самыми любимыми лошадиными лакомствами — хлебом, сахаром, морковью, арбузными корками. Он жадно выхватывал у меня все это и тут же резко отдергивался — ему прежде, видно, крепко доставалось по голове.

Решив, что контакт налажен, я взяла седло, уздечку и открыла дверь денника. Тут-то Пепел показал характер. Он крутился волчком по крохотному закуту, норовя повернуться ко мне задними ногами, я же, естественно, стремилась оказаться у головы. Это бы продолжалось до бесконечности, не ухитрись я достать из кармана кусок хлеба. Пепел выхватил его и отпрянул. Большого я тогда не добились, а на то, чтобы отучить его бегать по деннику, понадобился месяц.

Следующие этапы оказались еще труднее. Я пыталась надеть уздечку, он задирает голову. Приманивала лакомством — опускал, я обнимала его за шею, висла на ней, но он легко поднимал меня вверх. Поиздевавшись полчаса, позволял натянуть ремни оголовья. Но лишь его зубов касалось железо, тут же сжимал их.

На уздечке приключения не кончались. При седловне Пепел не упускал случая неожиданно укусить меня за плечо или

руку — ватная телогрейка отчасти спасала, но синяки оставались внушительные.

Более опытные конники с возмущением смотрели, как я либеральничаяю. Они говорили: «Ну, знаешь, если его за это не наказывать, далеко ты на нем не уедешь. Что за дела — позволять лошади своевольничать? А ну, всыпь хлыста — за каждый укус по удару!»

Этот логически абсолютно разумный воспитательный прием, с успехом опробованный на сотнях лошадей, в случае с Пеплом приводил к обратным результатам: чем больше я его наказывала, тем больше он кусался. Но и беспрерывно пичкать его лакомствами было бессмысленно. Оказавшись в вопросе воспитания на распутье, я предпочла одно: не показывать, что мне больно. Я словно не замечала укусов, которыми меня буквально осыпал Пепел, и лишь иногда легонько щелкала его по носу.

О чудо! Этот метод оказался эффективным. Вопреки логике, здравому смыслу, принципам обращения с животными.

Порой нас спрашивают, наказываем ли мы лошадей. Узнав, что наказываем, обвиняют в жестокости: вот, мол, Дуров от своих зверей всего добивался только лаской и поощрением.

Но дрессировка не выездка, между ними большая разница. Дрессированная лошадь выполняет заученное автоматически, а выездженная, у которой тоже выработаны определенные условные рефлексы, постоянно прислушивается к требованиям всадника и делает лишь то, чего он хочет от нее в данный момент.

На выездженной лошади вы можете десять раз остановиться в одном и том же месте, а на одиннадцатый спокойно поедете дальше, дрессированная и в одиннадцатый раз остановится, несмотря на ваши энергичные посылы. Показателен пример, приведенный Аристотелем. По его словам, сибариты выучили своих лошадей танцевать под флейту, и это их погубило: «Враги их, кротонцы, воспользовались этим на войне. Когда сибариты хотели перейти в наступление, кротонцы заиграли на флейте, и лошади стали танцевать вместо того, чтобы идти в атаку».

Итак, дрессировка отличается от выездки, а с методами Дурова в действии я незнакома. Впрочем, не уверена, что он вообще отказывался от наказаний.

В представлении людей несведущих наказание — это обязательно что-то вроде порки. Однако ребенка ставят в угол — это наказание, ругают — тоже наказание, причем для впечатлительного ребенка большее, чем шлепок.

Наказание и жестокость не синонимы. Одной лаской, одним поощрением лошадь не выездишь.

Спросите спортсмена (или, например, артиста балета), легко ли ему даются тренировки, не болят ли мышцы. Еще как болят, но он силой воли подавляет в себе болевые ощущения и чувство усталости, он заставляет себя преодолевать их. Для преодоления такого рода трудностей необходим элемент самопринуждения. Или принуждения извне.

Все мы знаем, что такое хорошая осанка: плечи развернуты, грудь вперед, живот втянут — красиво. Допустим, вы такой осанкой не обладаете, но, разумеется, хотели бы обладать. Так примите ее — попытайтесь выглядеть красиво на протяжении четверти часа. Боюсь, не получится — в таком-то напряжении.

А лошадь на соревнованиях по выездке должна в полном сборе (то есть именно с хорошей осанкой) работать около пятнадцати минут.

Вы можете заставить себя сознательно, а лошади что? Ей плохо, ей неудобно в таком положении, и она стремится от него избавиться. Ради ласки и вкусных вещей звери выполняют лишь то, что нетрудно.

Так вот, только желание избежать наказания, то есть еще большей неприятности, может побудить лошадь работать как надо, несмотря на усталость и боль в натруженных мышцах.

Насколько же велико напряжение мускулатуры во время выездки, судите вот по чему. Першерон целый день спокойно возит тяжелую телегу и устает умеренно. Спортивная лошадь за десять минут шага — подчеркиваю, шага! — в полном сборе вся может покрыться пеной и мылом, хотя порой, десяток километров проскакав, даже не вспотеет.

Выездка должна постепенно и настойчиво развивать у лошади умение ходить в полном сборе, чтобы это стало для нее естественным, не причиняло никаких неудобств. Как осанка у умелого гимнаста.

А сила наказания — точнее, степень? Она различна и зависит от характера лошади. Для иной, если она легко возбудима, наказанием служит даже чуть более сильно, чем обычно, прижатая к боку нога всадника (так называемый шенкель).

Чтобы верно очертить течение жизни, мне пришлось бы, возможно, каждую страницу разделить пополам, и на одной половинке писать о спорте, а на другой — об учебе, о науке, поскольку в обеих областях события развивались параллельно и главные точки почти совпадали во времени: поступление

в университет и начало занятий выездкой, поступление в аспирантуру и включение в сборную.

Когда решался вопрос о моей аспирантуре, на кафедре знали, что я спортсменка, и это было единственной причиной, по которой руководитель кафедры (тогда еще член-корреспондент) Сергей Евгеньевич Северин несколько сомневался во мне.

Впрочем, думается, мне удалось рассеять эти сомнения, и по окончании аспирантуры я получила от Сергея Евгеньевича лестное предложение поехать на десятимесячную стажировку за границу. Огромный был соблазн, но прервать на такой долгий срок тренировки, оставить Пепла я не могла.

Быстро окончить аспирантуру мне помогло то, что первый год занятий уходит на подготовку кандидатского минимума — на философию и иностранный язык, и аспирантам задают жуткое количество «страничек». А я сдала язык тотчас, чем освободила себе время.

Английский у нас еще в школе очень хорошо преподавался, а в университете — опять-таки для экономии времени — я взялась читать сразу неадаптированные книжки. С первой мне приходилось чуть ли не за каждым словом лазить в словарь, во второй пошло легче, с третьей — еще легче. Но известно, что между пассивным пониманием языка и активным владением им, умением разговаривать высится психологический барьер, и чтобы перепрыгнуть его, нужно было усилие, особенно трудное для меня при моей закомплексованности. Помню, попав в первый раз на чемпионат Европы в Данию в 1965 году, я, уже очень прилично зная английский, каждое утро по большой дуге обходила портье отеля, чтобы не говорить ему простого «здравствуйте». Переступить же барьер меня, как и многих людей, заставила необходимость — на соревнованиях за рубежом нужно было общаться со спортсменами и тренерами из других стран. Для этого вполне хватало английского, и когда я ради собственного удовольствия взялась за французский, то занималась им крайне лениво и дальше умения читать Сименону без словаря не пошла. Вообще я убедилась, что для меня нужен элемент принуждения извне, настоятельной необходимости — одного удовольствия мало.

...Кто-то из знаменитых ученых — кажется, академик Арцимович — в шутку сказал, что наука «есть способ удовлетворения собственного любопытства за государственный счет».

Когда читаешь научные статьи, кажется, что строгая логика изложения почти не оставляет места для творческого воображения, — настолько естественным и органичным представляется каждый этап, каждый последующий шаг в работе. На самом деле это всего лишь ретроспективный взгляд на то, что уже

сделано, получено, устоялось. Это последующее разложение по полочкам своих сомнений, колебаний, поисков и находок, ложных шагов и тупиков.

Научное исследование — увлекательнейшая работа, и в изложении ученых, обладающих популяризаторским даром, описание пути к открытию захватывает не меньше, чем хороший приключенческий роман. Но порой, чтобы написать страничку этого романа требуются месяцы, годы каждодневного, достаточно однообразного, рутинного труда, повторение снова и снова одних и тех же экспериментов. Терпение и настойчивость вознаграждаются маленьким открытием — открытием скорее для себя, потому что в масштабах большой науки это лишь крошечный шагочек к истине. Но он твой, он несет тебе счастье. Наука в определенном смысле не менее эмоциональна, чем спорт.

Я была счастлива, что меня оставили в аспирантуре, тем более что получила возможность продолжить работу над темой, увлекшей меня в период выполнения диплома.

Моя диссертация называлась «Влияние природных имидазольных соединений на сократительные и ферментативные свойства мышечных белков». Попытаюсь несколько расшифровать это таинственное название, хотя популяризатор из меня плохой.

Прежде всего, хотя в названии фигурируют мышечные белки, а тема связана с проблемой сокращения мышц, к спорту она не имеет никакого отношения. Подчеркиваю это потому, что ассоциация напрашивается и мне часто говорят: «Ты спортсменка, вот и тема у тебя такая». Совпадение здесь случайно, формально, хотя не исключено, что в отдаленном будущем результаты фундаментальных исследований в этой области могут найти применение в медицинской практике и в спорте. Проблема механизма мышечных сокращений на молекулярном уровне стоит в ряду важнейших проблем современной молекулярной биологии, над ней работают целые институты.

«Природные имидазольные соединения» — это требует специального разъяснения. Достаточно давно в составе мышц животных и человека обнаружены удивительные вещества — дипептиды: карнозин и анзерин. Каждое состоит из двух аминокислот — «кирпичиков», из которых строятся все белковые молекулы. Но эти соединения уникальны, они содержатся только в тех мышцах, которые осуществляют двигательную функцию, в так называемых «скелетных» — в сердце, например, их нет. В мышце же этих соединений иногда больше, чем веществ, служащих непосредственными источниками энергии для сокращения мышц. Все это привело к мысли о тесной связи между дипептидами и мышечной функцией, однако загадка непосред-

ственной их роли до сих пор не разгадана: дипептиды — твердый орешек!

«Корни науки горьки, плоды ее кислы», как любит говорить Сергей Евгеньевич Северин, и открытия я не сделала. Но до чего увлекателен сам процесс работы, приносящий на каждом шагу по узкой, зато собственной тропке радостные неожиданности!

Длинная плоская кювета доверху наполнена водой. По краям две плексигласовые пластинки, соприкасающиеся с поверхностью воды. Широким жестом проводишь по поверхности стеклышком с каплей студнеобразного раствора актомиозина — белкового комплекса, из которого в основном состоят мышцы. И — ничего!

Потом сближаешь плексигласовые барьеры, и когда между ними остаются считанные сантиметры, вдруг замечаешь, что поверхность воды как бы слегка морщится. Это становится видимой тончайшая пленка белка. Барьеры смыкаются, между ними, собранная в гармошку, уже не пленка, а белковая нить. Она в состоянии выдерживать маленький грузик. Это чудо рождения из ничего крохотного подобия живой мышцы всегда завораживало меня. Как интригующе интересно обнаружить, что карнозин и анзерин словно уплотняют эту нить, чего ни одно сходное соединение сделать не может!

Обнаружив это в первый раз, я от радости заскакала на одной ножке по коридору, думая, что меня никто не видит, — был поздний вечер. И страшно смутилась, поймав изумленный взгляд румынского аспиранта.

А сложные кривые, вычерчиваемые пером самописца на бесконечных бумажных рулонах! С каким напряжением следишь за ними, тут же кидаешься обсчитывать: подтвердилось — не подтвердилось... Они отражают все то, что происходит в ячейке, где «работает» твой фермент. И вот итог — найденное тобой математическое выражение процесса. Иногда возникает ни с чем не сравнимое ощущение — формулу не просто видишь, ее чувствуешь, знаешь, как она может себя проявить. Тогда воспринимаешь ее странность и красоту, оцениваешь ее эстетически.

Я бы погрешила против истины, если бы сказала, что спорт не мешает моей работе. Но поставлю вопрос иначе. Если бы я не занималась спортом, достигла бы в науке большего?

Ведь не излечи меня спорт от неуверенности, от страха перед ошибками, не научи владеть собой, я не рискнула бы делать многое из того, что сделала (читать, например, лекции), никогда бы не обрела смелость отстаивать собственные суждения.

С другой стороны: достигла бы я большего в спорте, если бы не «отвлекалась» на науку?

С уверенностью отвечаю — нет.

8

Вернемся к спорту. В январе 1964 года меня зачислили в аспирантуру, а в мае начался тренировочный сбор для подготовки к Олимпиаде. Он проходил на Десне, в Ватутинках, в тридцати километрах от Москвы. Я не могла позволить себе жить на сборе вместе с другими участниками — мне надо было работать над диссертацией.

И вот я подбегала к метро перед самым его открытием, потом выбегала, садилась в автобус, потом минут двадцать пешком через лес... В семь я седлала Пепла — когда другие не спеша шли завтракать.

В первое время со мной много и охотно работал армейский тренер по выездке Николай Алексеевич Ситько — он исключительно предан делу, готов с раннего утра до позднего вечера ездить на лошади. Но через несколько дней я ощутила в его поведении неожиданную метаморфозу: я словно перестала для него существовать. Оказалось, руководство строго предостерегло его, чтобы он перед первенством СССР не готовил «своим» соперницу (к сожалению, порой ведомственные интересы ставятся выше интересов сборной).

Попав в сборную, я неожиданно окунулась в атмосферу страстей, которых прежде не знала. Меня огорошило, например, что некоторые — взрослые мужчины, зрелые спортсмены — внезапно перестали со мной здороваться, и я ломала себе голову над вопросом, когда и чем их обидела.

Это было, как я поняла позже, издержками того чувства соперничества, той естественной для спорта — Большого Спорта с его огромными моральными ставками — острой конкуренции, которая, будучи подогреваема честолюбием, разъединяет порою людей. Этого нет и никогда не было в нашей сборной за рубежом, там мы сплочены высокой патриотической целью, но дома с этим нет-нет да и столкнешься.

Мне повезло. Большую часть спортивной жизни я провела, многого не зная, отчасти в тепличных условиях. Григорий Терентьевич Анастасьев, незабвенный Терентьич, избавлял меня от дразг, словно заслонял грудью. Я жила в иной атмосфере еще и потому, что дома встречалась только с чистой и теплом, что на кафедре была необычайно дружественная обстановка.

Потому-то так больно уязвляли меня некоторые события, так помнятся они до сих пор.

Окаянная ведомственная конкуренция сказала не только в охлаждении Ситько. Дня за четыре до чемпионата страны лошадей повезли на Московский ипподром — там проводилась выездка. Поставили в конюшни. А я заболела ангиной и только накануне старта смогла выбраться к Пеплу.

Стояла жара, раскаленный воздух вибрировал над землей, а я бродила по конюшням и никак не могла обнаружить свою лошадь. Наконец, мне показали на дальнюю: «Может быть, там». В первую секунду я его не узнала — скелетик, обтянутый кожей. Он вышел, еле переступая ногами, жадно потянулся к воде. Два с половиной ведра он выпил сразу. Его бросили без присмотра, двое суток не кормили и не поили.

Мы с ним заняли шестое место: после всего, что произошло, выше быть не могли. И на Олимпиаду в Токио не попали.

Но горечь в памяти не оттого. Она поднимается в душе, когда я мысленно вижу тот живой скелетик на четырех ножках, тянущий морду к воде.

В следующем, 1965 году я впервые участвовала в чемпионате Европы. Надо сказать, что подробности соревнований я, к сожалению, всегда помню плохо — своих баллов, например, не помню никогда. И хотя основные вехи, самые трудные и самые радостные дни, конечно, запоминаются, ход отдельных соревнований словно сливается воедино. Словно все, что было у нас с Пеллом, — это один длинный, бесконечный турнир.

И об этом, так сказать, типичном, турнире я сейчас расскажу, чтобы сразу сделалось ясно, как он проходит, с чем сопряжен.

Итак, соревнования. Прежде всего важно угадать с разминкой. Мало разомнешь лошадь — плохо: мышцы не разогреются, трудно будет делать сложные элементы. К тому же если не избавишь ее от излишней энергии, она, глядишь, подыграет где-нибудь на прибавленном аллюре, а это срыв элемента, это все равно, что фигуристу упасть. К тому же избыток энергии позволит ей глазеть по сторонам, остро реагировать на окружающее, и она может чего-нибудь испугаться. Разомнешь больше чем надо — устанет, будет работать вяло, и много ты у судей не получишь, и скинут они тебе баллы по тому пункту, который озаглавлен «импульс, желание лошади двигаться вперед».

Спортсмен делает разминку, что называется, по самочувствию, но лошадь-то сама ее не делает, и говорить она не умеет, и ее самочувствие надо угадать. Причем не только самочувствие — настроение. Если она взволнована, то при разминке ни

малейшей резкости, только спокойствие; подавлена — надо взбодрить.

Научить человека понимать лошадь очень трудно. Не знаю, можно ли вообще этому научить. Способность к почти телепатическому контакту с животным должна быть от природы, а индивидуальный опыт лишь развивает ее. Недаром про особенно способных всадников в конном спорте говорят: «Он с чутьем».

В спортивной науке сейчас увлеклись построением неких идеальных моделей для каждого вида спорта. Не знаю, как в легкой атлетике, гимнастике или плавании, но применительно к конному спорту я моделирования не приемлю. Пусть фигура, руки, ноги, физическая сила, быстрота реакции, даже посадка будут соответствовать идеалу, но нет чутья — нет всадника. Или есть, но среднего уровня, не более.

Я понимаю, что такой тезис равносильен сакраментальному «Ум — как деньги: если он есть, то есть, если нет, то нет».

Опытный автомобилист знает, что у каждой машины свои особенности. Однако он всегда уверен в адекватности реакции: нажим на педаль газа или сцепления предполагает строго определенный ответ. Казалось бы, для всадника тоже однозначно: потянул за правый повод — пошла направо, за левый — налево. Пошла-то она пошла, но как! Одно дело — плавно вписалась в поворот, слегка повернув голову и красиво согнувшись в боку. Другое — когда только слегка скривила челюсть, подставив ее, как подпорку, ненавистному железу, и повернулась всем корпусом, прямая, точно доска. Баллы сразу летят вниз.

Словом, поскольку под тобой живое существо, то требования для получения необходимого ответа должны постоянно меняться в соответствии с десятками самых неожиданных факторов. Чутье — в момент соревнований — это непрестанные микрокоррекции, причем ошибку чувствовать надо в фазе зарождения. Предугадывать ее почти телепатически.

Что касается идеальной модели всадника, то разве соответствует ей, например, датская спортсменка Лиз Хартель, которая после перенесенного в детстве полиомиелита с трудом передвигается на костылях? Ее сажают в седло, и она преобразается. На Олимпиаде 1956 года Хартель была серебряным призером.

...Итак, соревнования. Они проходят и под проливным дождем, когда с трудом удержишь мокрыми перчатками осклизлые поводья, а при поклоне судьям с полей цилиндра льется вода. И под палящим солнцем, когда кажется, что единственно возможный способ существования — сидеть по горло в ледяной ванне, а надо натягивать бриджи из плотного эластика,

тяжелые сапоги, фрак, и к концу езды сердце чувствуешь у самого горла.

А как избавиться от мух и слепней? Лошадь встряхивает головой, отбивает задней ногой, а судьи скидок на мух не делают.

До старта три минуты. В последний раз оглядываю себя и Пепла. Так, косички в гриве не растрепались, «лишнее» белое пятнышко шерсти покрашено жженой резинкой...

Тренер и помощник еще раз протирают ему суконкой шерсть...

Главный судья объявляет мою фамилию.

На Западе это так: «Фройлен (впоследствии — фрау) доктор Петушкова». В большинстве стран Западной Европы наша кандидатская степень соответствует званию «доктор», и это производит впечатление на зрителей и участников, тем более что за границей женщин в науке меньше, чем у нас. Надо сказать, что моя фамилия произносится за рубежом довольно трудно, и порой меня за глаза звали просто «фройлен Пепел».

...Ассистент судьи осматривает железо во рту лошади: не применила ли я запрещенные правилами строгие удила или железную лопаточку, не дающую лошади перекидывать язык. Но все в порядке.

Гонг.

Подъем в галоп, и Пепел как по струнке идет по осевой линии манежа и в центре, у точки, отмеченной белыми опилками, четко, быстро, но в то же время плавно, не «иклюнув», останавливается.

«Вот вам, — мысленно говорю судьям. — Вот как мы умеем».

Короткий кивок, поводья в левой руке. Судья снимает котелок.

Начало хорошее.

Разбираю поводья, чтобы тронуться с места.

И вдруг нас захлестывает рев прибоа. Это вдали, на дорожке ипподрома, рвутся к финишу рысаки, это кричит публика (реальный случай, который мне запомнился). Пепел обычно очень собран, а тут от неожиданности заплясал, закрутился на месте. Срыв сразу двух элементов!

Только когда шум смолк, Пепел снова мобилизовался и, пофыркивая, тронулся рысью. Перемена по диагонали на прибавленной рыси. Он еще в углу привычно просит повод, вытягивая нос и опуская вниз шею. Распластавшись, словно летит над землей из угла в угол манежа.

Еще серия элементов. Чувствую, возбуждение прошло, Пепел начинает подхалтуривать: прибавляет ровно столько, сколько

ко сам считает нужным. Ковыряю его шпорой с того бока, который не виден судьям, — маленькая хитрость.

По английскому анекдоту: «Сэр, почему у вас только одна шпора?» «А вы думаете, что если заставить одну половину лошади двигаться, другая будет отставать?»

Пепел, слегка крикнув, не прибавил ни на йоту. Он у меня профессор — прекрасно знает, что во время соревнований никакие наказания ему не грозят. Он работает честно и добросовестно, но чуть-чуть излишне самостоятельно, словно говорил своим поведением: «Я прибавил, и хватит, а если тебе еще надо, это уж, извини, слишком».

Правда, в чем я не могу его упрекнуть, так это в отсутствии внимания к моим действиям. Многие лошади, запомнив программу, усердно и услужливо начинают сами каждый следующий элемент — начинают, когда еще не подготовлены к нему, на метр-полтора раньше нужного места. Таких забот с Пеплом я не знаю — он чутко ждет сигнала к каждому переходу, хотя езду тоже знает и помнит.

Однако ленца, с которой он сегодня бежит, действует не на нервы. Давлю ногами изо всех сил его бока, позади только половина программы, а я уже устала и впереди самые трудные элементы. Пепел работает очень четко, но вяловато, хотя при такой жаре его понять можно.

Переход в шаг. Ну вот, секунд двадцать передышки — шагом сам пойдет.

Снова подбираю поводья, стискиваю бока. Пассаж... Пнафф... Вот негодяй, совсем замер, еле ногами перебирает, а ведь так хорошо на разминке делал!

Менка ног. Здесь он часто врет. Когда-то это был его коронный номер, но однажды я заболела, и на него посадили другого всадника — мужчину; команде на соревнованиях нужен был зачет. Вместо того чтобы попытаться подстроиться к лошади, всадник взялся за один день «переделывать под себя» Пепла. Он предъявлял иные требования и по-иному, чем я, а лошадь не понимала, чего от нее хотят.

Когда я срочно сбила температуру и пришла, Пепел категорически отказывался делать менку ног. С тех пор его будто подменили: в последующие десять лет можно по пальцам пересчитать соревнования, когда ему случайно удавалось пройти диагональ, меняя ногу без единой ошибки.

Правда, и я здесь уже не чувствую уверенности. Точнее, жду ошибки. А лошадь и на это реагирует.

Есть всадники, у которых лошади прекрасно работают на тренировках — кажется, равных быть не может. А в соревнованиях такая слабая езда, что диву даешься. Наверное, их под-

водит именно ожидание ошибок — богатое воображение и прорывающаяся от этого излишняя осторожность, которая переходит в робость, боязнь малейшего риска. Это не спортсмены по натуре. Даже если у них чутье, лучше им быть тренерами, готовить лошадей для других.

Но в манеже ног на этот раз, кажется, пронесло. Все прекрасно. Остается заключительное пиаффе, и я позволяю себе немного расслабиться: сама выдохлась до предела. Пепел мокрый, шерсть под поводьями в пене...

Ох, нельзя ворон ловить! Я самую малость ослабила контроль, а он взял и стал, когда надо еще восемь темпов отбить.

Не смущаясь тем, что нахожусь под носом у судей — из двух зол выбирают меньшее, — поддеваю Пепла шпорами. Лениво отбрыкнувшись, он несколько раз переступает. Это вряд ли даже намек на пиаффе, но большего мне добиться не удается.

Пот заливает глаза. Задыхаясь от усталости и злости, кланяюсь судьям — улыбку даже не пытаюсь изобразить.

Поводья брошены, и Пепел, глубоко вздохнув, выходит из манежа с чувством выполненного долга. Сохраняя внешне полное спокойствие, я шепчу сквозь зубы: «Урод! Ишак! Скотина безрогая! Вот я тебе сейчас покажу, как не делать пиаффе! Дай только выехать за трибуны, где нас не видно».

Но стоит мне дотронуться шенкелями до боков, как бы провоцируя Пепла: пусть попробует снова схалтурить, я ему покажу! — и он легко и свободно выдает такое пиаффе, что остаётся соскочить, похлопать его по шее и отвести в конюшню.

Да, он у меня действительно профессор — разве можно на него сердиться?

9

После 1964 года я уже регулярно занимала призовые места на всесоюзных соревнованиях, прочно вошла в основной состав сборной, а на чемпионате Европы 1967 года в Аахене, куда поехала после защиты диссертации, была шестой — лучшей среди женщин (читатели знают, очевидно, что высшая школа верховой езды — единственная спортивная дисциплина, в которой женщины соревнуются наряду с мужчинами).

Между прочим, один наш журналист окрестил меня тогда в печати «мисс Европа» и никак не мог понять, за что я обиделась. Но в этом не существующем в конном спорте титуле «мисс» — оттенок конкурсов красоты, несправедливый не только по причине неспортивности, но и потому, что здесь выступают спортсмены и спортсменки подчас совсем пожилого возраста,

ста, и молодость, приятная внешность одних не может быть противопоставлена морщинкам и сединам других.

В ту пору я познакомилась с замкнутым миром, который составляет международный конный спорт, с его своеобразными особенностями и ни на какие другие не похожими ритуалами.

Спортивные состязания многое бы утратили без той праздничной, приподнятой атмосферы, которая окружает их. Этой атмосферой они обязаны организаторам в той же мере, в какой прессе, радио, телевидению — «конструкторам общественного мнения». Сколь ни прекрасно само по себе фигурное катание, но ведь сравнительно недавно оно было не слишком популярно в нашей стране, и только усилия прессы (в первую очередь электронной) превратили его, как говорится, в «гранды». Таким образом, эстетическое богатство фигурного катания получило возможность широкой и полной реализации.

Выездка в ряде стран — в частности в нашей — не принадлежит к числу популярных видов спорта. Причина в ней самой, в ее правилах.

Зритель, попавший на соревнования впервые, бывает поражен и восхищен красотой этого своеобразного спортивного искусства. Все здесь необычно: и полная тишина на трибунах, и элегантность всадников, и грация лошадей. Что ни старт — романтическая поэма.

Но проходит час, другой, третий, и события начинают напоминать пленку, прокручиваемую бесконечное количество раз. Одни и те же элементы, одна и та же последовательность выполнения. Разницу между плохим и хорошим выступлением в состоянии усмотреть лишь посвященный, но однообразие действует и на него. Оценка выражается в сотнях, даже тысячах баллов, и, когда объявляется результат, успеваешь самое выступление забыть.

Каюсь, мне самой трудно высидеть на соревнованиях больше двух часов.

Конечно, такое положение ненормально: ведь зрелищность — одно из неперемennых условий существования такого социального явления, как спорт.

Есть ли выход? С моей точки зрения, их два. Первый — разнообразить и индивидуализировать программу, приблизив ее по структуре к фигурному катанию. То есть наряду со «школой», которой можно считать нынешнюю каноническую обязательную езду, ввести произвольную, не ограничивая ее точками манежа, и, возможно, даже под музыку (опыты подобного рода — в порядке показательных номеров — уже делались). Кроме того, думается, надо упростить и объективизировать судейство, которое ныне субъективно до парадокса. Скажем, на

чемпионате мира 1971 года Иван Кизимов имел у одного из судей третье место, а у другого — одиннадцатое, и ошибкой. проявлением пристрастия это не считалось.

Думаю, здесь не место вдаваться более глубоко в подробности столь важной темы. Я коснулась ее лишь для того, чтобы выразить удивление и даже восхищение публикой, перед которой мне приходилось выступать, в частности в Аахене. Там не впопых — там настоящий конный стадион с трибунами на 80 тысяч человек, и они обычно полны.

Огромную роль играет реклама. Весь город украшен афишами, эмблемами, ни одна магазинная витрина не обходится без «кавалерийских аксессуаров», будь то седла, уздечки, подковы...

Хозяин ресторанички, где обедали участники, поставил перед дверью чучело лошади, запряженной в коляску, и для полноты впечатления разбросал у ее ног сено и навоз, за которым не поленился съездить на конюшню.

А в самом центре города большая витрина демонстрирует призы, учрежденные фирмами для спортсменов, занявших первые восемь — десять, а то и двенадцать мест. Чего тут только нет — зонтики, телефонные аппараты, шины, парфюмерные наборы, холодильники...

Как правило, конные соревнования в Европе обставляются чрезвычайно торжественно. Например, в 1973 году в Копенгагене чемпионат проходил на плацу перед парламентом — здесь с давних времен тренировали королевских лошадей. И когда к открытию прибыла королева Маргрете с мужем, принцем Хенриком (очень интересным мужчиной), и «роллс-ройс» с короной на номерном знаке остановился, на позеленевшей от патины кровле дворца появились герольды в средневековых костюмах и затрубили в трубы, возвещая о начале чемпионате.

Там, в Копенгагене, я нарушила придворный этикет.

Обычно по случаю закрытия дается прием и на пригласительных билетах пишут, как надо быть одетым. Двенадцать сильнейших всадников были приглашены в спортивной форме — фраках, бриджах, сапогах (а я тогда заняла третье место). Меня представили королеве, я поклонилась, и вслед за тем воцарилось молчание, отчасти неловкое. Я спросила, нравится ли ее величеству конный спорт. Королева, глядя на меня с высоты своего 186-сантиметрового роста, ответила, что сама им никогда не занималась, а занималась ее сестра. А потом работники посольства сделали мне внушение: «С особами королевской фамилии нельзя заговаривать — спрашивать могут только они».

Вернусь, однако, в Аахен. Он мне особенно памятен: ведь там в семидесятом году я стала чемпионкой мира. Одной из его

традиций служит красивая и трогательная прощальная церемония. В последний день турнира, в час, когда садится солнце и все вокруг приобретает оттенок легкой грусти летних сумерек, команды выезжают на ровный ковер стадиона — каждая под свой национальный гимн, затем весь строй медленно удаляется, а все зрители в такт маршу расставания машут белыми платочками, которые словно светятся в сиреновом вечернем воздухе.

Люди конного спорта столь же колоритны, сколь и обычаи.

О чемпионке Олимпиады 1972 года Лизелотте Линзенгофф в одной из наших газет писали: «Домашняя хозяйка из Франкфурта-на-Майне, мать двоих детей». В известной степени ее можно считать домашней хозяйкой, поскольку она нигде не работает. Она баронесса, миллиардерша.

Первый чемпион мира Йозеф Неккерман (мировые турниры проводятся лишь с 1966 года) — владелец крупной торговой фирмы, и его успехи, должно быть, помогают рекламе товаров. Он был членом национального олимпийского комитета ФРГ, внес большую сумму на подготовку Олимпиады в Мюнхене, а победу свою, кстати сказать, одержал в шестидесятилетнем возрасте.

Чемпион мира 1974 года Райнер Клинке — известный адвокат. «Доктор Клинке» — так его называют на старте.

Ни с кем из них, однако, я близко не знакома — они сдержанны, хотя приветливы, безукоризненно вежливы (Неккерман — чуть преувеличенно; за счет профессии, очевидно), это лишь вежливость и не более того.

...Летом семидесятого в связи с большим количеством участников (половину, кстати, составляли женщины) в Аахене было решено, что основная программа будет разыгрываться в два дня. По жребию в первый день розыгрыша Большого приза за команду ехали я на Пепле и Иван Калита на Тарифе, во второй — Иван Кизимов на Ихоре. В первый же день выступили Линзенгофф на Пиафф и Неккерман на Мариано.

По сумме баллов двух участников сборная ФРГ имела после первого дня солидный запас. Во второй же день одновременно решалось, кто попадет в переездку и, значит, сможет бороться за медали в личном зачете.

Надо сказать, что команда наша первой еще ни разу не была, хотя в личном зачете мы числили в своем активе победы Филатова в Риме и Кизимова в Мехико. В 1964 году в Токио сборная СССР имела бронзовые награды, в 1968 году в Мехико — серебряные.

Здесь, в Аахене, на командную победу мы тоже не очень рассчитывали — и за второе-то место предстояло драться.

Я после первого дня в протоколе стояла второй, чем не очень обольщалась: впереди еще были старты многих признанных «креков» (синоним слова «ас» в конном спорте).

10

Утром второго дня пошла посмотреть езду Кизимова. Он выглядел хорошо, но без обычного блеска. Наш Григорий Терентьевич Анастасьев записывал баллы в книжечку, с которой никогда не расставался, однако подсчетов делать не решался.

Два дня назад, при выступлении в Среднем призе, который тоже разыгрывался как командный, Терентьич поколдовал в своей «бухгалтерии» и вдруг в восторге закричал: «Ура, мы вторые!» И кинулся обнимать спортсменов ГДР, поздравляя их с победой. Увы, Терентьич неправильно сложил суммы баллов. Он впал тогда в полное отчаяние и больше не решался опережать события.

Оценку Кизимова я не дождалась, командных — тоже: надо было торопиться в отель. И когда там в холле ко мне подбежал хозяин, стал трясти за руки, твердя: «Гратулире, гратулире, радио — цвай пункте, руссиче маншафт — вельмайстер», я подумала, что неправильно его поняла — неужели мы чемпионы мира? В этот момент за мной приехала машина, которую я ждала.

Еще осенью прошлого года в Москву приезжал профессор Бено Хесс, директор Дортмундского научно-исследовательского института имени Макса Планка, занимающегося проблемами биохимии и молекулярной биологии. Он посещал нашу кафедру, и я была в числе сотрудников, показывавших ему столицу. Обязательный сорокатрехлетний мужчина, профессор весело смеялся, когда я, стремясь выпроводить его из такси, где он порывал расплатиться, брякнула: «Плиз, гоу аут!» (Пожалуйста, уберите вон.)

Видимо, профессор Хесс в своей ушанке, приобретенной па случай русских морозов, выглядел вполне «по-нашему», поскольку однажды в гардеробе ресторана его отозвал в сторону один посетитель и начал что-то шепотом по-русски выяснять. Профессор беспомощно пожимал плечами. Оказывается, тот поспорил с приятелем, правда ли, что за одним столиком с Хессом сидит Петушкова.

Конечно, конный спорт не футбол, не хоккей, не фигурное катание, да и снимки мои настолько далеки от оригинала, что подобные случаи, к счастью, крайне редки.

Так или иначе, профессор узнал, что я спортсменка, и я сказала ему, что, возможно, буду на чемпионате в Аахене. Он

не забыл об этом, и в один прекрасный момент в номере отеля «Хенхен» («Петушок») раздался звонок из Дортмунда. Профессор приглашал меня осмотреть институт.

Мы договорились, что за мной заедут утром, отвезут в Дортмунд, до которого было 180 километров, и в тот же день — точно к трем часам — доставят обратно.

Осмотр института представлял для меня узкоспециальный интерес, я не стану вдаваться в подробности, тем более что все время волновалась, как бы не опоздать, чувствовала себя стесненной и скованной. Профессор был гостеприимен, и его радушие, естественно, относилось не столько ко мне лично, сколько к советским ученым, которые так тепло встречали Хесса в Мюнхене.

По возвращении в Аахен я попросила сразу отвезти меня на «турнир-плац». В конюшню никого не было. Я поднялась на чердак, где жили наши конюводы, и увидела Терентьича. Сидя на голых деревянных нарах, он самозабвенно что-то подсчитывал.

— Неужели правда, что мы первые?

— Правда, правда, — нарочито ворчливо отвечал он, — не приставай.

— Кто попал на переездку, кто на каком месте?

— Говорю тебе, отстань от меня.

Он отмахнулся, а потом с торжествующим видом протянул мне список участников переездки. Среди восьмерых были все трое наших. А я — поразительно! — по-прежнему стояла второй.

Я даже огорчилась: обидно ведь завтра опуститься на одно или несколько мест ниже, лучше уж с самого начала быть пятой или шестой. А в том, что я не могу быть выше, я не сомневалась.

Терентьич искренне возмущился:

— Это безобразие — так не верить в свои силы!

Но мой пессимизм объяснялся не этим. Дело обстояло сложнее. Линзенгофф лидировала с большим отрывом, а такой «крек», как Кизимов, отставал от меня всего на пять баллов. Я находилась, таким образом, между Сциллой и Харибдой и считала, что вряд ли удержусь на своей позиции. Тем более в конном спорте люди выступают очень много лет, быстрой смены лидеров не бывает, преимущество получают «титулованные особы», к которым судьбы благосклоннее. Линзенгофф была чемпионкой Европы, Кизимов — олимпийским чемпионом, а же в Мехико заняла шестое место, и мне казалось, что это потолок.

Конец, третий источник моего тогдашнего скептицизма по отношению к себе — возраст. Мне было двадцать девять, а са-

тому молодому из известных до сих пор чемпионов, Филатову, в год его победы — тридцать четыре. Линзенгофф — больше сорока...

Я могла надеяться после переездки не опуститься особенно низко и, объективно, как мне казалось, расценивая свои шансы, считала четвертое место большим успехом.

Ровно в четыре команды появились на конкурном поле для награждения.

Мы ехали впереди.

Это был огромный успех, утверждающий советскую высшую школу верховой езды, я бы сказала, в двух ее принципах — спортивном и социальном.

Выездка — своего рода классика. Овеяны дыханием старинны воспоминания седовласых знатоков о принципах строгой и грациозной венской школы. До недавнего времени общепризнаны были французская и немецкая. Первую из них характеризует легкий, мягкий, непринужденный стиль (даже, по мнению некоторых специалистов, излишне свободный для лошади). Немецкая — это строгость, полное подчинение всаднику со стороны мощных, массивных, тяжеловатых лошадей (у этой манеры есть свои сторонники).

И вот наши успехи, в первую очередь командные — в Аахене и позже в Мюнхене, на Олимпиаде, — заставили говорить о рождении советской школы, впитавшей в себя лучшее из мирового конного спорта.

Осмелюсь утверждать, что нашей школе в ее высших образцах свойственно одно из ценнейших качеств — полное сотрудничество человека и животного. В свое время в журнале «Плезир Эквестер» принципы сотрудничества характеризовались так: «Спокойные, мягкие требования приводят к мягкому подчинению, которое предполагает покорность, прогрессивную как для тела, так и для души. При достижении такой тесной связи всадник преуспевает в том, что лошадь воспринимает его легкие прикосновения, знаки и мозговые волны».

Если же говорить о социальной стороне вопроса, может быть, более важной в спорте, то нельзя не учесть, насколько дорог в странах Запада наш вид спорта. Он приблизительно сродни ларусному спорту: талантливый и хорошо выезженный конь стоит не дешевле хорошей яхты, а содержание его — дороже. Не случайно выездкой занимаются очень богатые люди, не случайно и президент международной федерации — принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы.

И когда мы рассказываем, что нам занятия конным спортом практически ничего не стоят, когда говорим, что прокат лоша-

дей для желающих ездить верхом обходится в рубль за час, — это производит внушительное впечатление.

...Итак, мы ехали первыми, нам рукоплескали зрители и в нашем лице — стране, которую мы представляли.

Надо сказать, что в Аахене публика объективна и хорошо воспитана. Она умеет отдавать должное чемпионам и никогда не освистывает побежденных.

Меня злит, когда я слышу порой даже от добрых знакомых: «Что же ты так плохо выступила? Бронза — это мало. Неужели не могла первого места занять?» Они говорят искренним тоном, но им не приходит в голову непременно спрашивать у научного работника, почему тот не академик, у продавца — почему он не директор магазина, у солдата — почему он не генерал.

Жаль, что не очень многие понимают, как тяжело в спорте высшего уровня дается и пятое, шестое место...

И вот решающий старт. Я была относительно спокойна, вероятно, потому, что не рассчитывала победить, и это спокойствие передалось Пеплу. Он не сделал ни одной ошибки. Казалось, он великолепно понимал ответственность момента и во время езды сам излучал на меня уверенность и силу. Шел дождь, но казалось, что даже если бы разверзлись хляби небесные, это бы не смутило Пепла.

«Он ни разу не терял собранности, он переходил из одного движения в другое без малейшего колебания — так плавно и легко, а его аллюры были так естественны, что, кажется, с ним никогда не работали: управление было совершенно незаметно», — писали потом в бельгийском журнале «Бюллетэн офисье-ель де ля ФРБСЕ». «Со времен Ваттеля на Рампарте и Лесажа на Тэне я не видел искусства выездки, исполняемого с такой чистотой», — писал корреспондент французского журнала «Эперон». «Русская комбинация Пепел — Петушкова была единственной, которая создавала впечатление гармонии и, следовательно, легкости» — эти слова принадлежат американскому судье и обозревателю доктору Ван Шайку.

И вот я поклонилась судьям, выехала из манежа, усталая, промокшая до нитки, отправилась на конюшню.

Время текло неторопливо, моросил дождь, небо было серое, без просветов, в денниках лошади мерно хрюпали овсом.

Приблизительно через час я увидела, как к конюшне бежит по лужам наш конкуррист Виктор Матвеев. Бежит и кричит:

— Елена! Ты чемпион!

Сперва я даже не отреагировала — решила, что он неудачно шутит. Но взглянула в его лицо, и сердце забилося учащенно.

Через несколько мгновений прибежал мокрый Терентьич — обнял меня, оторвал от пола, стал кружить по конюшне, приговаривая: «Деточка моя, поздравляю». Потом появились все наши, за ними толпа зрителей.

Я убежала на чердак.

Пеплу деваться было некуда — вокруг его денника люди стояли часами, закармливали сахаром, от которого он, сладко-ежка, не отказывался. Художница из Голландии рисовала его портрет углем на большом листе картона, и он, изогнув шею, косил в ее сторону агатовым глазом.

...Потом звучал Гимн.

Пусть это никогда не повторится. Пусть я никогда больше не буду так счастлива. Но этот миг мой, его нельзя отнять.

В такой момент словно какое-то озарение нисходит на тебя и кажется, что в его ослепительном свете ты вдруг постигаешь некий высший смысл, величайшую мудрость жизни. Ты живешь в ином, ускоренном в сотни раз ритме, упиваешься каждой крохой нового бытия и по-особому ярко чувствуешь свою жизнь на этом свете.

Ни одна жертва не кажется чрезмерной для того, чтобы испытать такое счастье.

11

За время выступлений на Пепле у меня было много тренеров, они менялись в группе выездки, и каждому из них я от души благодарна. Но всеми успехами больше всего я обязана одному человеку — Григорию Терентьевичу Анастасьеву.

Есть сказка — кажется, немецкая, — как один из троих братьев нарисовал на стволе дерева девушку, второй вырезал ее из дерева, а третий оживил. Кому же она должна была принадлежать? И мудрец рассудил, что третьему. Кто вдохнул в нее жизнь, гот ее создатель.

Так создал Терентьич меня как спортсменку.

Тренер и спортсмен — в этом двуединстве заключено нечто большее, нежели в двуединстве «учитель и ученик». Ученик может быть продолжателем дела учителя, но он никогда не будет продолжением его самого. Тренер же часто видит в воспитаннике собственное «я», воплощение, может быть, несбывшегося. Отсюда отеческое отношение к спортсмену, забота о нем, порой жертвенность, присущая скорее родителям вне зависимости от разницы в годах. Тренер прощает воспитаннику то, чего не мог бы простить учитель ученику. Бывает, он своими руками отдает спортсмена другому тренеру, считая, что ученику это принесет большую пользу.

Как грустно, что порой ему платят черной неблагодарностью!

Можно по пальцам пересчитать выдающихся спортсменов, тренировавшихся абсолютно самостоятельно: времена гениальных самоучек и одиночек давно миновали. В конном же спорте совершенно необходимо, чтобы опытный, умный взгляд постоянно корректировал тебя — правильно ли выполнено упражнение, в должном ли темпе.

Когда Терентьич стоял на манеже с бичом в руке, еле заметными взмахами подправляя лошадь (по-моему, никто в мире так не понимал лошадей), — это напоминало настройку скрипки.

Но еще в большей степени его тренерскому таланту было свойственно умение настраивать на борьбу душу спортсмена.

Я уже упоминала о том, как психологически точно умел он пользоваться в интересах дела моим природным упрямством. Перед соревнованиями же мне обычно казалось, что ничего не получается. Везде всегда возможны мелкие шероховатости, но я преувеличивала их значение, стремясь к некоему недостижимому идеалу. В этот момент Терентьич знай меня нахваливал — даже излишне, если рассуждать с точки зрения техники, — и это меня ободряло.

Кизимов, Калита, Петушкова — в таком составе наша сборная просуществовала много лет. Вели мы себя перед соревнованиями по-разному. Скромный, молчаливый Кизимов любил перед стартом начищать снаряжение — оголовье, ремни. Он их смазывал, перетирал, драил до бесконечности. Обаятельный, общительный Калита внешне выглядел спокойным, и что творилось у него внутри, было видно, пожалуй, одному Терентьичу, потому что внезапно старик принимался злить Ивана, выводить из себя: «Не получается принятие, нет, опять не получается — не умеешь работать как следует, и нечего было сюда ехать!» Калита сердился, ругался, Терентьич делал вид, что страшно обижен, отходил...

Иные думали, что Анастасьев сам себя в руках держать не умеет, поэтому других дергает. Но они не понимали, что соревновательный настрой не всегда создается успокоительными словами и валериановыми каплями.

...Анастасьев родился в семье крестьянина-бедняка, батрачил, после революции устанавливал на селе Советскую власть. Вся его сознательная жизнь связана с красной кавалерией, и, уйдя в отставку в звании полковника, он возглавил сборную страны по конному спорту. В ту пору в сборной не было старших, главных тренеров — выездкой, конкуром, троеборьем ведал один Анастасьев, а всеми организационными вопросами — Владимир Викторович Крыжицкий.

Необычайный природный ум, способность мыслить глубоко и масштабно, видеть перспективу и неумная энергия помогали Григорию Терентьевичу добиваться успехов, что называется, по всей ширине фронта. Шестидесятые годы принесли нам успехи и в выездке (Рим, Олимпиада), и в конкуре (выигрыш Кубка наций), и в троеборье (победы на первенстве мира 1962 и 1965 годов).

Позже у руля сборной стали появляться другие специалисты, а Анастасьев, чувствуя, что силы уже не те, оставил за собой только выездку.

И вот вершина — двойной триумф 1970 года в Аахене. Мы возвращаемся в Москву, на аэродроме множество встречающих, и мои друзья случайно слышат фразу, сказанную одним из тогдашних руководителей нашей федерации: «Ну вот, теперь Терентьевичу пора на заслуженный отдых».

На другой день по приезде Анастасьеву говорят: «Григорий Терентьевич, есть мнение перевести вас в городской спорткомитет. То есть не вас, а вашу ставку — мы возьмем на ваше место молодого специалиста, вы как работали, так и работайте, а его готовьте себе на замену». Это было неожиданно и равносильно пощечине. Оскорбленный Терентьевич ответил, что если он больше не нужен, пусть ему так и скажут, а своим трудоустройством он может заняться сам.

В тот же день Григория Терентьевича видели в приемной руководства Спорткомитета, и этого обстоятельства (хотя на прием он не попал) оказалось достаточно, чтобы на следующий день его попросили забыть о вчерашнем разговоре.

Но такое не забывается, случай остался для Терентьевича незаживающей раной.

Иногда говорят: «Незаменимых нет». Это неправда. Каждый человек в жизни незаменим, особенно такой, как Анастасьев. Обидно и горько, что окружающие понимают это подчас лишь тогда, когда сделать замену заставляет смерть.

Теперь административных ставок при конном спорте стало больше, кабинетов больше, письменных столов больше и за ними сидят молодые, крепкие люди. Только успехов сделалось поменьше, чем тогда, когда нас тренировал, нами руководил один старик со своей неизменной записной книжечкой.

12

Я нарушила последовательность изложения событий, — до чемпионата мира 1970 года была Олимпиада 1968-го, первая из двух моих Олимпиад. Но я сделала это сознательно, чтобы рассказ об олимпийских стартах свести воедино.

44

Мексика — хрустальная мечта детства. Я рисовала в воображении прерии, всадников на мустангах, огромные кактусы и крохотных колибри, висящих над ними, сверкая, как драгоценные камни. В словах «сомбреро», «серапе» была экзотика и притягательная сила.

И вот мечта сбывалась.

Лошадей в Мехико везли особым самолетом — кажется, голландской авиакомпани. С ними были только ветеринарный врач Анатолий Доильнев и коноводы. Лошади стояли в тесных боксах, их пугал шум моторов, их укачивало. Ноги были забинтованы, под бинтами — поролоновые прокладки, на головах — ременные капсюли, выложенные внутри резиной, чтобы не разбить затылок о низкий потолок. Мы думали, что все это хорошо предохранит животных, но оказалось, что кожа под прокладками сопрела до мяса, тем более, во время посадок лошадей не выводили: пришлось бы развинчивать боксы. Когда самолет приземлился, стал отчаянно биться Ихор. В такой ситуации пилот имеет право пристрелить лошадь. Но Толя Доильнев грудью встал на защиту Ихора, сделал ему успокаивающий укол...

Во время же нашего долгого путешествия меня, помню, поразило, как уже при первой посадке — в Алжире, глубокой ночью — наши гимнастки прямо на зеленой траве газона устроили импровизированную тренировку.

Олимпиада сближает представителей разных видов спорта, которые обычно друг с другом незнакомы: начинаешь болеть за боксеров, гимнастов, борцов...

Мехико запомнился жарой и, кроме того, жаркой стихией «чейнджа»: ни на одних соревнованиях — ни до, ни после — я не видела, чтобы так азартно менялись. Все и всем — от значков до туфель...

Мехико — это олимпийская деревня, где огромное количество народа сует кто куда, кто зачем.

Это жгучее мое желание посмотреть пирамиды ацтеков или корриду, остающееся желанием, и только, потому что режим дня — это автобус, поездка на тренировку, возвращение, обед, душ, отдых, поездка на тренировку, возвращение, ужин, сон, утро, завтрак, поездка на тренировку.

Мы приехали в Мехико за месяц до открытия Олимпиады, день за днем проходил в этом одуряющем однообразии, и через две недели я почувствовала своего рода психологический кризис. Все мне сделалось неинтересно, а интересное было недоступно.

45

И вот тут вновь сказались тренерская мудрость Терентьича. «Все, — заявил он, — завтра у тебя персональный выходной».

Чего я только в тот день не успела! Видела и пирамиды и корриду, была на площади Гарибальди, где ночи напролет играют и поют ансамбли марьячес и можно по телефону вызвать их, чтобы спели под окном серенаду любимой девушке, — марьячес имеют лицензии на право нарушения тишины в любое время суток.

В этот же день мы с одной нашей гребчихой попали в парк аттракционов и решили прокатиться на «американских горках» (там их называют «русскими»). Нас предупреждали, что они самые высокие в мире и что в прошлом году, во время предолимпийской недели, после этих горок у гимнаста Миши Воронина шея болела. Но мы не прислушались к предупреждению да и не поняли толком, при чем тут шея.

Однако начались сумасшедшие крутые спуски, и в тряском вагончике голова действительно болталась, как на ниточке.

Подробности соревнований сейчас уже изгладились из памяти. Помню, как была рада нашему командному «серебру» — все-таки будет и у меня олимпийская медаль. Помню, каким мрачным ходил перед поездкой Кизимов, проигрывавший Неккерману около двадцати баллов, и как дивились его настроению приветливые и общительные мексиканцы. Им трудно было поверить, что это из-за места, которое он занимает, — ничьи места их решительно не волновали, и они спрашивали у меня, не обидел ли кто Кизимова.

На другой день Иван Михайлович Кизимов стал олимпийским чемпионом, повторив успех Филатова.

Оставалось два дня до отлета, у меня на них были самые радужные планы, я столько еще хотела посмотреть...

Но утром не смогла встать с постели. Состояние было как после тяжелой болезни. Я не сразу тогда поняла, что апатия, отупение естественны после таких соревнований, которые дают тебе высочайшим напряжением, а когда оно проходит, то оказывается, что организм исчерпал все силы.

Позже я узнала, что после Олимпийских игр многие спортсмены по нескольким месяцам не могут прийти в себя.

Когда рассказываешь о таком, тебе порой не верят, считают преувеличением. Ведь вот, например, артисты балета тоже испытывают большое физическое напряжение, а у них спектакли гораздо чаще, чем главные международные турниры спортсменов.

Верно. Но разница вот в чем. Артисты почти никогда не прибегают к предельной нагрузке. А к за предельной — вообще никогда. Артисты должны показать все, на что они спо-

собны, спортсмены — для победы — больше, чем все. Запредельная нагрузка — это когда организм бросает в бой глубоко спрятанные резервы, неприкосновенный запас сил. Этот НЗ используется в жизни крайне редко — в экстремальных условиях. Например, в миг смертельной опасности. Но жизнь спортивная учит сознательно тратить свой НЗ.

Напряжение соревнований усиливается от ответственности, лежащей на спортсмена: чем серьезнее значение турнира, тем ответственность выше, на Олимпиаде она самая высшая. Спортсмен сознает, сколько трудов и усилий потратило множество людей, чтобы подготовить его успех, он понимает важность успеха для страны, для народа. Олимпиада же бывает только раз в четыре года, и в жизни многих спортсменов она единственная. Это итог твоей четырехлетней работы, и если ты не сумел добиться успеха, значит, и труд и сознательное самоограничение, отказ от чего-то, может быть, очень личного, дорогого — все оказывается напрасным.

Вот чем объясняется и накал страстей, сопутствующих Олимпиаде, и та олушечность, которая может охватить тебя, когда все остальное позади.

...Олимпиада в Мюнхене далась тяжелее. Мы ехали бороться за первое место в командном зачете, но на команду сыпалось несчастье за несчастьем.

В Москве тогда стояла ужасающая жара, в Западной Европе было холодно. По дороге простудился Тариф, конь Калиты, и Иван Александрович был вынужден пересесть на запасного — Торпедиста, лошадь гораздо ниже классом. Потом захромал у Кизимова Ихор. Тариф постепенно превозмогал свою пневмонию, хотя был еще слаб — его только выводили шагать в поводу. Внезапно у Торпедиста обнаружилась хромота на все четыре ноги. И я вдруг заметила, что Пепел слегка прихрамывает — на крутых поворотах или в углу манежа. Я сказала об этом Терентьичу, он без особой уверенности ответил: «Ничего, ничего, это, наверное, ты не так повodom работаешь».

Что оставалось говорить бедному Терентьичу, когда у него на глазах буквально разваливалась великолепная команда?

До старта оставалось три дня. Среди ночи я проснулась с ощущением жара. Но здесь, в женской половине олимпийской деревни, я была единственной конницей и не знала, где живут врачи других наших команд. Пошла наугад по коридору и за одной из дверей услышала русскую речь. Это волейболистки, у которых соревнования кончались поздно, обсуждали игру. Там была женщина-врач, она поставила мне градусник — 38,5...

Велела лежать в постели. Но как было сообщить Терентьичу, что утром я не приеду на тренировку? На счастье, мне

встретилась композитор Александра Николаевна Пахмутова, она знала Терентьяча, и он через нее мне передал, чтобы я не беспокоилась (легко сказать!).

Днем пришла профессор Зоя Сергеевна Миронова, наш знаменитый спортивный врач, принесла уйму лекарств, сбивала температуру, и я почувствовала себя почти хорошо. Сказывался, конечно, нервный подъем, обостряемый сознанием, что выступать все равно необходимо.

Но беда не приходит одна. Когда на следующее утро я пришла на тренировку, Терентьяч печально сказал: «Ты, Ляля, была права — Пепел-то на передние ноги едва наступает».

В принципе ничего особенно страшного не было — просто камешки, которые попадают в песок манежа, вызывают так называемую «наминку» — острое воспаление в толще копыта, очень болезненное. Раньше в таких случаях делали укол новокаина, но в Мюнхене для лошадей впервые ввели допинговый контроль, и делать уколы было нельзя.

Ветеринар Толя Доильнев вскрыл опухоли на обоих копытах Пепла, удалил гной, но боль была сильная. Две ночи подряд Терентьяч и Толя сидели в деннике, парили передние ноги моей лошади в ведрах с горячей водой и бальзамом. Пепел вынул бы ноги, если бы они ушли, и они по очереди дремали там прямо на сене.

Я не знала в спорте человека самоотверженной Анастасьева: он всегда раньше всех вставал, мчался на конюшню, проводил время в бесконечных хлопотах и терял за соревнования семь-восемь килограммов. Костюм висел на нем, как на вешалке.

...Мне повезло с жеребьевкой. Участников Большого приза, поскольку их было много, поделили на две группы, и я попала на второй день. Кизимов и Калита — на первый. Калите пришлось все-таки сесть на Тарифа (Торпедист совсем обезножел), и он проявил большое мужество, став шестым на лошади, только что оправившейся от воспаления легких.

Впрочем, как здесь не сказать о мужестве и терпении Тарифа?

В общем, после первого дня по сумме результатов двух участников мы отставали от команды ФРГ очень значительно — на 121 балл, и передо мной стояла задача отыграть эту разницу.

Но в вечер Большого приза произошли известные события в олимпийской деревне Мюнхена: туда ворвались террористы, захватили заложников...

Деревня была оцеплена войсками, стояли танкетки, нас проводили через подземные этажи.

В первое время мы питались слухами. Потом в дело активно включилось телевидение, и извечное стремление западных телерепортеров информировать публику обо всех подробностях события сослужило защитникам закона и порядка дурную службу: бандиты, которые тоже смотрели телевизор, знали обо всех намерениях властей.

Не было никакой ясности, продолжится ли Олимпиада.

Но вот состоялась панихида по жертвам конфликта, и соревнования возобновились.

Баллов своих я не помню — помню только ощущение крайней сосредоточенности. Толя Доильнев пошел на одно ухищрение: распрявил жестяной совок, вырезал пластинки по форме копыт и перековал Пепла так, что пластинки оказались под подковами. Это несколько уменьшило боль. На разминке Пепел все-таки прихрамывал, но Толя уверял, что через полчаса он разойдется. Я не могла не верить, но нервы были натянуты как струны, и мысль о том, выдержит ли конь, отвлекала от мысли, выдержу ли я.

Наша команда победила. Вопреки всему. В личном зачете выиграла Линзенгофф, я была второй.

Что было потом, не помню — абсолютный провал в памяти. Скорее всего мы готовили в дорогу наших лошадей — бинтовали ноги, хвосты, чтобы они не вытерлись о стенку машины.

Скорее всего этим мы и занимались...

13

Было бы нечестно утверждать, что известность мне не льстит. Я не лишена честолюбия, что проявлялось еще в первом классе, когда стали выбирать звеньевых «звездочек» и санитаров, а меня куда-то не выбрали, и я пришла домой заревавшая. Родители, узнав о моих горестях, посмеялись: «Придет время, и ты будешь радоваться, если тебя куда-то не выберут». Я вспоминаю об этом порой под бременем многочисленных общественных нагрузок.

С течением времени обо мне стали писать в газетах, стали приглашать выступать, что было нелегко: волновалась я не меньше, чем перед соревнованиями, а сил, чтобы побороть волнение, уходило больше.

Вдобавок мне казалось, что каждый раз надо говорить что-то новое, и надолго меня не хватало. К счастью, я много выступала вместе с писателями Львом Кассилем и Василием Чичковым и обнаружила, что они каждый раз с артистической непосредственностью выдают за экспромт то, что много раз уже рассказывалось.

Храбро убедившись, что повторяться не зазорно, я стала несколько «забалтывать» фразы и мысли, которые уже знала наизусть. Однажды это привело к конфузу — в Звездном городке. Я с упоением разглагольствовала о том, как ужасно сложен и опасен конный спорт, и вдруг услышала смех. Он был все громче, и наконец генерал Каманин добродушно сказал: «Этак вы совсем наших космонавтов запугаете и они никогда в конники не пойдут».

Я выступала много, иногда по три-четыре раза в неделю, но не потому, что нравилось, — просто не умела отказывать. Бурная «гастрольно-концертная деятельность» была очень утомительна и вскоре оказалась не по силам: ведь от всего остального никто меня не избавлял — ни от тренировок, ни от работы на кафедре, руководства аспирантами и прочего, что составляло основу жизни.

Я заметила, что если, отказываясь от очередного выступления, ссылаешься на подлинные, вполне уважительные причины (устала, много дел, надо побыть с дочкой), это не воспринимается всерьез. Но если говоришь, что не можешь выступить здесь, поскольку должна выступать там, а там — что выступаешь здесь, довод звучит вполне убедительно.

Такой метод избавления от хлопот не лучший, я себя за него осуждаю, но ничего поделать не могу.

Тем паче за все время пребывания в МГУ мои занятия спортом никогда не приравнивались даже к общественной работе. Помню, на факультете висело объявление: «Пребывание в сборной университета рассматривается как комсомольское поручение», — но ко мне этот тезис, увы, не относился. Вероятно, это потому, что я не состояла членом студенческого спортивного общества «Буревестник». В свое время меня в него не приняли — я не была ни мастером спорта, ни даже перворазрядницей, а в ином качестве «Буревестник» не интересовала. Так я и осталась на всю жизнь в «Урожае» и никаких льгот и поблажек, которые порой предоставляет «Буревестник» своим спортсменам, не имела: меня, когда я училась, и от занятий физкультурой никогда не освобождали.

Я не жалею — просто констатирую.

...Наверное, многие считают меня человеком волевым и жестким. Но эти свойства проявляются разве что по отношению к себе самой. С другими я бываю мягкой, даже безвольной — не знаю, замечают ли студенты, как тяжело дается мне требовательность. Большой частью вовсе не дается. Организаторско-го дара я в силу этого совершенно лишена.

Что же касается воли, силой которой я себя самое заставляла многое преодолевать, то, по-моему, с годами она немного

ослабевает. Одну за другой даешь себе маленькие поблажки — может быть, это естественная и необходимая защита организма от перенапряжения, не знаю.

Если спросить, хотела бы я, чтобы снова мне было восемнадцать, я отвечу: «Ни за что». Пусть меня можно счесть во многих вещах баловнем судьбы, но годы учебы, работы и спорта, как ни прекрасны они были, скольких радостей ни принесли, дались таким напряжением, что я не хотела бы пережить все сначала.

Наверное, я так говорю потому, что изменилась, как меняется в принципе каждый.

Уходит бескомпромиссность, свойственная юности, ты понимаешь, что нельзя все делить только на черное и белое, что есть полутона...

Правда, поразмыслив, я прихожу к выводу, что иные поступки, кажущиеся мне естественными для других, по-прежнему невозможны для меня самой, хотя по сути они не противоречат моим нынешним взглядам.

Впрочем, я не думаю, что познала себя до конца.

Может быть, я изменилась еще и в том, что перестала недооценивать себя. Думаю, человек вправе и обязан со спокойной гордостью говорить: «Да, я чемпион мира, я олимпийский чемпион», — не требовать взамен особых благ и почестей, но гордиться обязан.

Послеолимпийский год в спортивном отношении был успешным. На чемпионате СССР я победила во всех четырех видах программы (Средний приз, Большой приз, переезда и комбинированная езда), что случается крайне редко. Выиграла золотую медаль в Среднем призе на первенстве Европы в Аахене, серебряную — в Большом.

В начале зимы у меня был конфиденциальный разговор с Терентьичем: я сказала, что жду ребенка.

Хочу быть понятой правильно. Я не люблю узнавать интимные подробности жизни известных людей — в конце концов значительны они успехами в своей профессии, своей общественной ролью. И самое сокровенное я должна открывать лишь применительно к тем моментам, которые влияли на спорт: ведь о нем мой рассказ.

Итак, я сказала, что зимой тренироваться не смогу. Мы, точно заговорщики, решили, что это останется между нами, а с Пеплом Терентьич будет работать сам, попросив выделить себе

в помощь какую-нибудь девочку в клубе — для общего тренинга и разминки.

Чем была вызвана секретность? Возможно, это звучит несколько наивно, но мы оба были уверены, что к июню-июлю, к основным стартам, я снова буду в седле. Небольшие состязания проходят и до этого, и мы опасались, что вдруг на Пепла посадят кого-то другого («Не пропадать же лошади») и мой контакт с ним будет нарушен. Выше я рассказывала о том, как другой всадник на всю жизнь сбил Пеплу менку ног.

Вообще под чужим лошадь идет совсем иначе — хуже, чем под хозяином. Мне сам Терентьич, садясь на Пепла, всегда говорил: «Деточка, он у меня сейчас пойдет неправильно, но ты не обращай внимания, у тебя он работает как надо. Я его только двину вперед, чтобы тебе потом легче было». И действительно, после Терентьича Пепел у меня летал по манежу как птичка.

Кроме того, мы боялись, что, выступи на Пепле другой всадник более или менее неудачно, это скомпromетирует лошадь, неудачу отнесут за счет возраста — все-таки весной 1974 года ему должно было исполниться восемнадцать лет.

Словом, мы все тщательно продумали, но в декабре Григорий Терентьич тяжело заболел — как оказалось, неизлечимо.

Я наивно думала, что просьбы наши в отношении Пепла выполняются из уважения к нам с Терентьичем. И вдруг весной узнаю, что Пепел почему-то на Планерной, на каких-то сборах и что девочка, которую к нему прикрепили, намерена выполнить на нем норму мастера спорта.

Двумя неделями раньше я потеряла горячо любимого отца. Развелась с мужем.

Через две-три недели мне предстояло стать матерью.

Анастасьев был прикован к постели.

И еще это предательство. Именно так — предательство, иначе я думать не могла. Я поняла: меня как спортсменку списали за ненадобностью.

Не хочу искать виновных: просто было невыразимо горько и горько до сих пор.

Директор клуба сказал: «А я думал, что ты все знаешь, и меня удивило, что ты не принимаешь мер. Пепел не заслужил, чтобы его на старости лет делали учебной лошадью».

Приезжаю на Планерную и вижу грустную картину. Понурый Пепел со взъерошенной шерстью, не просохшей после усиленной, видимо, тренировки бредет в поводу у какой-то девочки. Вид неухоженный, копыта заломанные. «Вы Люся?» — спрашиваю. «Нет, я коноух, а Люся в манеже отдыхает».

А я-то, я-то, даже достигнув высших своих титулов, почти всегда сама «выпагивала» Пепла после работы!

И это же был Пепел — чемпион мира, олимпийский чемпион. Я уже спортсменкой была, а разок посидеть на легендарном Абсенте казалось мне наградой, честью, чудом!

Короче, я поехала в центральный совет «Урожай» и попросила вернуть Пепла в Сокольники, обеспечить ему ежедневный часовой тренинг на корде и никого на него не сажать, поскольку в июне рассчитываю снова приступить к тренировкам. Все это было выполнено, хотя за кулисами поползли шепотки о том, что и сама, дескать, уже не спортсменка и лошадь для других жалеет, эгоистка такая.

29 мая у меня родилась Влада. В конце июня я села в седло. До чемпионата страны оставались три недели.

Не знаю, что было бы со мной, если бы не мама. Все заботы она взяла на себя, все, какие могла. Для нас с ней — именно для нас обеих, потому что мои интересы всегда были ее интересами, — это было не просто возвращение в спорт. Было нечто большее — шаг к возрождению нашего доброго и теплого когда-то, полностью разрушенного мира.

Иные меня осуждали: «После такого несчастья, да и ребенок только месяц, а она нашла о чем думать — на лошади кататься. Хватит, откаталась, пора о жизни поразмыслить».

Осуждали многие, на помощь пришел Миша Копейкин. В первый же день, когда я вернулась из родильного дома и толком не знала, как подступиться к маленькой (а мама все навыки уже забыла), явился Миша и храбро взялся за дело. Раз, раз, перепеленал, продемонстрировал, как пеленки под краном стирать (его дочери было тогда пять лет). На другой день он пришел с Аллой, своей женой, и она осталась нам помогать.

Копейкин, мой друг, — очень хороший спортсмен. Мы познакомились давно, в 1966 году, на первом чемпионате мира. Когда получали форму, он показался мне важным и надутым, но это заблуждение быстро рассеялось. Мы были тогда в команде самые младшие и держались вместе. После чемпионата, который проходил в Берне, участникам предложили провести неделю на высокогорном курорте, и нам разрешили остаться.

Помню голубую вершину Юнгфрау, коров с колокольцами, такими большими, что их подвязывают не на веревочку, а на хомут... Однажды мы с Мишей дошли до границы глетчера, там было объявление, что запрещается громко кричать, возможны обвалы. Миша, конечно, тут же заорал: «Ого-го!» Нас поднимали по канатной дороге — на подвесных стульчиках, рассчитанных на двоих, под нами проплывали верхушки елей, прозрачные озера, в которых стояла форель, фиолетово-серый ледник. И хо-

тя раскачивать стульчики строго возбранялось, Миша всюду начал нашу жердочку. Он всегда был слегка бесшабашный, таким и остался.

В 1967 году в Аахене он на Корбее был в Большом призе шестым, а в переездке я его опередила. Мне присвоили звание мастера спорта международного класса, а Миша этого звания дождался еще десять лет — вроде бы из-за меня. Но никакая конкуренция никогда не нарушала нашей дружбы.

Обычно дня за два — за три до Нового года он появлялся у нас с елкой: покупал себе и решал, что нам тоже нужно.

...Тренировалась я в то лето одна: мое возвращение по-прежнему считалось блажью. Попросила перевести Пепла в московский конный завод — мы рядом жили на даче. Там не было размеченного манежа, границы его я представляла мысленно. Но каково было лошади — ей-то надо ощущать стенку...

Казалось, все это во сне, все не со мной.

За день до чемпионата страны я попросила дать на меня заявку.

Смотрели на меня с любопытством, всерьез никто не принимал. И вдруг — первое место в Среднем призе, первое в Большом, второе в переездке.

Замешательство в руководстве сборной: через три недели чемпионат мира в Копенгагене, а команда не укомплектована. Меня спросили, смогу ли я поехать, но как было оставить двухмесячную девочку на одну маму? И тут старший тренер сборной Николай Федорович Шеленков пришел мне на помощь. Его жена, доктор медицины, заведующая отделением Института акушерства и гинекологии, уговорила пожилую, опытную медсестру взять нас под свою опеку. И я собрала чемодан.

В Копенгагене наша команда была второй (потом подсчитали, что без нас с Пеплом она оказалась бы не выше третьего места). Я получила бронзовую медаль, уступив только Климке и Линзенгофф. Бронза, завоеванная в таких условиях, была для меня дороже золота. Но надо же было так случиться, что когда мы проходили круг почета — как обычно, на галопе, — ушко моей медали, висевшей на тонкой ленточке, обломилось, и она упала в песок.

Я потом долго ходила по манежу, пыталась ее найти и не могла.

Но свет не без добрых людей. В течение многих лет покрытие манежей на всех крупных турнирах готовит один и тот же специалист из ФРГ. У него особый трактор с маленькой боронкой, и через каждые два-три выступления он боронит и выравнивает покрытие. Он узнал о моей беде, сказал, что постарается

помочь, и действительно, на другой день с улыбкой вручил мне медаль. Оказывается, он со своими помощниками для этого весь песок перекопал.

15

К началу 1976 олимпийского года наши дела в выездке оказались не очень-то хороши. Ясно было, что Ихор не сможет быть в составе: он на год моложе Пепла, но как-то внезапно одряхлел. Тариф болел, да и Пеплу исполнилось двадцать лет, он в определенной мере утратил эластичность и гибкость движений, и я понимала, что на высокое личное место нам с ним не претендовать, но в команде он по-прежнему незаменим. Ведь в неофициальном зимнем первенстве страны мы были первыми в Среднем и Большом призе, вторыми — в переездке.

В многолетней работе с одним Пеплом — и счастье мое и несчастье. Большинство опытных всадников исподволь готовя себе запасных лошадей: мало ли какая беда может случиться с основной? Пепел был практически здоров долгие годы, но времени для подготовки ему дублера у меня не оказалось.

Вообще, как ни парадоксально это звучит, хороших лошадей нашей сборной долго не хватало. И это при том, что в стране около ста конных заводов, что отечественные породы высоко ценятся в мире, что ежегодно большое количество лошадей продается за границу по ценам, доходящим подчас до сотни тысяч долларов.

Но к лошади, выбираемой для выездки, предъявляются особые требования. Она должна быть не только красивой, но и обладать природной правильностью движений — такие встречаются не часто, а учить их навыкам выездки надо долгие годы: не случайно в состязаниях они получают право выступать лишь в шестилетнем возрасте.

И вот получить такую лошадь спортсмену, даже ведущему, даже члену сборной, иной раз весьма трудно. Иногда это потому, что завод заинтересован в том, чтобы оставить ее в качестве производителя, иногда (впрочем, реже) норовит выставить на аукцион, получить валюту. А иногда по причине, которая, как ни странно, кроется в заботе о массовости конного спорта.

Массовость, конечно, залог побед, и хорошо, что при заводах создаются спортивные секции. Плохо, что в них порой процветает местничество, когда лучших лошадей просто првчут от ведущих специалистов страны, приезжающих отбирать конский материал. Првчут, посмеиваясь в душе: зато, мол, наш Валя станет чемпионом области. А квалифицированных кадров на многих заводах нет, подготовить лошадь международного клас-

са там не в состоянии. Когда же она смолоду выезжена неправильно, ее никакими силами не переучишь.

Между тем отсутствие конских резервов в большом спорте нельзя восполнить опытом и громкими титулами всадников. Характерен пример сборной Швейцарии, которая вплоть до 1968 года считалась одной из сильнейших, конкурировала со сборной ФРГ, но не имела в запасе хороших лошадей, и в итоге отошла на вторые роли.

Сейчас наша команда укомплектована прекрасно. Но в выездке лошади в основном еще молоды, в коннуре же, например, в работе с ними, как мне кажется, недостает правильной и строгой системы подготовки.

Однако вернуть к 1976 году. Весной Пепел стал прихрамывать. Причина казалась непонятной, но будь он моложе, никто не усомнился бы в необходимости энергичных мер для установления диагноза и лечения. А тут, хотя, как я уже сказала, он недавно доказал, что по-прежнему № 1, создалось мнение, что это уже возрастное.

Мы с моим новым тренером Владимиром Афанасьевичем Васильевым, тем самым, который когда-то посоветовал мне заняться выездкой и помог сделать в ней первые шаги, просили приехать нам ветеринара, но его все не было и не было.

Впрочем, на добрых людей мне всегда везло. На помощь пришли и Борис Михайлович Обухов, один из старейших врачей ипподрома, и доктор биологических наук Арнольд Аркадьевич Ласков, и Зоя Сергеевна Миронова, не раз помогавшая нашим лошадям.

Диагноз был однозначен — начальная стадия отложения солей в плечевом суставе. Зоя Сергеевна сказала, что достаточно двух-трех уколов гидрокортизона, и можно дать гарантию: в течение длительного срока хромота не будет появляться.

Но шло время, лошадь берегла ногу и плечо, началась атрофия мышц.

Ласков рискнул: ввел гидрокортизон и плюс к нему вещество, вызывающее острое воспаление мышц, чтобы вызвать усиленный приток крови. Первые результаты были для Пепла мучительны: у меня самой вызывал боль вид его ноги, отекающей, как бревно. Он боялся даже пошевелиться, даже подвинуться к кормушке.

Прошло несколько дней, отек убывал, хромота уменьшалась. Тут мне позвонило начальство: надо ехать в Минск на первенство страны. Ласков возражал категорически: «Если сейчас везти лошадь в вагоне или на грузовике, ее можно окончательно погубить — ведь только-только начался процесс восстановления».

Словом, мы не поехали, мы приступили к работе. И уже когда с ногой все было в порядке, в чем мог бы убедиться любой непредвзятый человек, выяснилось, что мы с Пеплом и в Монреаль не едем.

Ну, хорошо — имелись опасения: Пепел не молод, вдруг захромает? В этих опасениях был определенный резон. Но зачем было до последнего момента, «золотить пиллюлю», скрывать, внушать какие-то надежды, проводить прикидки, когда давным-давно всем было все известно — всем, кроме меня?

...Не слишком ли о многих своих обидах я здесь рассказываю? Но ведь я собиралась рассказывать все, как было в моей спортивной жизни, и показывать одни радости, одни светлые стороны было бы неверно, необъективно, это в мои намерения не входило.

Кроме того — и важнее того, — иное обстоятельство. При всей вполне понятной индивидуальности перипетий моей жизни многое из происходившего со мной похоже на то, что случается с другими.

Мне не кажется проявлением эгоизма утверждение, что спортсмену надо помогать, когда ему нелегко, создавать душевный покой, когда душа у него не на месте. Те спортивные руководители, которые, живя лишь сегодняшним днем, заботятся только о результате, а не о человеке, способном показать результат, нарушают долг перед государством.

Ни сил, ни средств, ни душевного тепла не жалеют государство, партия, народ для спорта и спортсменов. И не только потому, что победы и рекорды нужны, но прежде всего по причине глубокой, органической гуманности нашей социальной системы.

...Я задалась все же целью доказать, что в Пепла не верили напрасно. В дни Олимпиады проходили российские соревнования в Костроме. Там было множество конников, я поехала туда с Пеплом, выступила, и все видела, как он был необычайно свеж и бодр. Он по заслугам занял первое место.

В последний раз я стартовала на нем на чемпионате СССР. Сошла с седла, поцеловала его славную черную морду, и мы расстались. За судьбу моего друга я была спокойна: его ждали на родине, под Ростовом-на-Дону, на конном заводе имени Кирова, где разводят лошадей тракенской породы, а он один из немногих оставшихся в живых потомков знаменитого Пилигрима.

Он заслужил спокойную и счастливую старость, самоотверженный труженик спорта, как заслужила ее каждая из спортивных лошадей, путь которой усеян шипами, а розы — точнее, ро-

зетки, прикрепляемые к оголовью в качестве знаков отличия чемпионов и призеров, — вовсе не радуют и не веселят их.

Мне приятно думать, что моему Пеплу живется хорошо, и больно, когда я вижу Ихора, знаменитого коня, на котором стал олимпийским чемпионом Иван Кизимов. На старости лет на Ихоре учат неумелых новичков. Он-то, может быть, не понимает, какая по отношению к нему совершена несправедливость, но мы ведь люди, как мы можем этого не понимать?

Конечно, новичков надо учить — смешно было бы утверждать иное мне, когда я сама начинала в прокатной группе. Но честное же слово, для этой роли подойдут другие, не столь заслуженные кони. А лошадь, которую столько лет воспитывали, создавая живое произведение искусства, лошадь, отдавшая нашему спорту все свои силы, могла бы, думаю, в почете провести остаток дней.

Что до Пепла, то в момент, когда пишутся эти строки, у него уже семеро детей — три дочки и четыре сына. Одного из них называли Пепел-2.

Мую новую лошадь зовут Абакан. Он сын великого Абсента, родился в Казахстане, в Луговском зерносовхозе, где разводят ахалтекинцев и где на могиле его отца стоит бронзовый памятник «лошади века». Основы выездки были заложены в Абакане тренером совхоза Иваном Васильевичем Квасовым.

Когда я впервые увидела Абакана, он показался мне очень смешным — худой, длинный, тонкий, как прутик. Правда, говорят, в шестилетнем возрасте таким же был и Абсент — ахалтекинцы долго растут и развиваются.

Некоторые до сих пор говорят мне, что Абакан не классического экстерьера: мол, корпус длинноват. Кстати, о Пепле у иных наших специалистов было мнение, что он слишком короток, однако недавно в Швеции на заседании Международной федерации он вспоминался многими как эталон красоты лошади. Я спорила, доказывая, что эталоном был Абсент, но мне отвечали: «Нет, пожалуй, Пепел».

Словом, увидев Абакана впервые, я улыбнулась, но почувствовала в нем что-то не определимое словами. Нечто заставившее подумать, что из него либо ничего не выйдет, либо выйдет выдающаяся спортивная лошадь. В нем ощущалось своеобразие, незаурядность, особенно важная в нашем виде, где при равной технике побеждают те, которые отличаются от других, выделяются своей индивидуальностью.

Мы начали с невысоких мест. Такова доля конника — как бы он ни был умудрен, каких бы ни завоевал титулов, с молодой лошадей ему предстоит заново взрослеть, заново шагать по

ступенькам, спотыкаться, падать, подниматься, шагать снова. Мы — как тренеры, «выводящие в свет» питомцев.

Абакан совсем иного типа, чем Пепел, и подход к нему нужен иной. У Пепла была высокая шея, ее порой требовалось опускать. У Абакана она ниже, и нужны большие усилия, чтобы придать ему положение полного сбора. Усилила не просто физические — можно поднять шею, но так, что лошадь словно упрется в повод и напряжение лишишь ее движения естественности и грации. Пока большая часть урока уходит на борьбу за максимальный сбор, за то, чтобы уравновесить Абакана.

Мы работаем вместе второй год, и я еще недостаточно изучила партнера, в чем убедилась, скажем, на первенстве Европы 1978 года в Гудвуде (Англия). Абакан не очень хорошо выполнял принятие — движение вбок, как вы помните. Перед Большим призом я решила на тренировке заняться с ним этим элементом. И так как он несколько запоздало и недостаточно активно реагировал на повод и шенкель, я сильнее обычного сработала шпорой.

Но он чувствительнее к «острым ощущениям», чем Пепел, — может быть, тот привык, а может, у этого иной болевой порог. Абакан заволновался, и хотя мне удалось добиться желаемого, но к концу тренировки он тяжело дышал, покрылся пеной (пена появляется не только от усталости, но и от возбуждения).

Перед стартом, на разминке, все было в порядке, но когда мы уже работали в манеже и дело дошло до несчастного принятия, то невинного действия поводом и легкого прикосновения шпорой оказалось достаточно, чтобы Абакан внезапно в панике сорвался в галоп. Выяснилось, что он очень памятьлив к наказанию и что перед соревнованиями с ним надо быть крайне осторожным.

Вообще же Абакан гораздо сдержаннее Пепла. У того все эмоции были написаны на физиономии, он быстро возбуждался, обижался и так же быстро отходил. Этот — весь в себе, по нему не поймешь, что он думает. Он не флегматичен, нет, у него достаточно бурная и глубокая внутренняя жизнь, но внешне она проявляется мало. Пепел, заслышав издали мои шаги, ржал, бил ногой, пытался носом откинуть щеколду денника и совался мне в руки, прося лакомства. А Абакан, даже когда окликинешь его: «Аба, Аба!» — делает вид, что не слышит, и лишь решив удостоить меня наконец своего признания, еле слышно фыркает. Знаки расположения с его стороны редки и потому особенно трогательны.

Вот с такой сложной личностью предстоит мне заново испытать многое и многое. Я смотрю на него и думаю об Олимпиаде в Москве. Смотрю и думаю с надеждой.

В начале своего повествования я сказала, что, покинув когда-нибудь спорт, даже близко не подойду к лошади. Но, записав все, что вы прочли, прожив еще раз мысленно свою жизнь, я прихожу к выводу, что сказанное в первых строках вряд ли верно.

Наука и спорт — две половинки моего сердца: нельзя же разрубить его пополам и одну из них выкинуть.

Владу, мою дочь, я впервые посадила в седло, когда ей было два года.

...Мир един, и его гармония в том, что все живое — наши друзья. А лошадь — один из самых давних друзей, самых близких.

Наиболее ранние из известных археологам изображенной лошади принадлежат к 3000 году до нашей эры — они обнаружены в Двуречье. А гораздо позднее попали они в Египет, в I веке до нашей эры — в Аравию.

У бедуинов есть легенда, согласно которой все арабские лошади произошли от кобылиц Магомета — Кохейлан, Сиглави, Обейан, Хадбан и Маанеги. Эти имена до сих пор сохраняются за пятью различными по экстерьеру типами арабских лошадей.

На самом деле установлено, что предками арабских лошадей была несейская порода, о происхождении которой ничего не известно. Несейские лошади пользовались большой популярностью в Персии и уже в те времена по типу разделились на лошадей для боевых колесниц — длинных, костистых — и верховых и вьючных — маленьких, с короткой спиной. Первые стали предками ахалтекинской породы. Вот сколь давняя родословная у моего Абанана.

Лошадь пахала ниву, возила грузы, возила людей. Лошадь воевала, и только хорошо выезженному, послушному коню всадник мог доверить свою жизнь на поле боя. После изобретения огнестрельного оружия, когда ненужными оказались тяжелые рыцарские доспехи и могучие медлительные кони, понадобилась не только быстрая и более маневренная лошадь, но такая, которая могла бы на всем скаку развернуться, отпрыгнуть, встать на дыбы, заслоняя собой хозяина.

А какие прекрасные страницы вписаны кавалерией в военную историю нашей страны!

Какой отчаянной атакой спас русскую гвардейскую пехоту под Аустерлицем кавалергардский полк Депредадовича, и поле боя устлано было трупами вороных лошадей и воинов в белых колетах.

А неудержимые атаки казачьих сотен Платова в Отечественную войну 1812 года?

А всеокрушающая буденновская лава?

А исторический рейд конного корпуса Доватора по фашистским тылам в сорок первом тяжелом году?

Кавалерия как род войск больше не существует, и подкову со скрещенными саблями носят на синих погонах разве что армейские спортсмены да те, кто снимается в кино, изображая лихих гусаров давних лет, красных конников и партизан.

На полях лошадь заменил трактор, на дорогах — автомобиль, и если она появляется на улицах больших городов, на нее и смотрят-то как некогда на самодвижущуюся повозку.

И в тех местах, где прежде высшую гордость и славу джигита составлял кровный конь, ныне объект престижа — «Жигули».

Так что же, он всего лишь анахронизм, наш четвероногий товарищ? И конный спорт — анахронизм, и, может, состязаться надо на мотоциклах, на разлапистых, приземистых гоночных торпедах, похожих на раздавленных лягушек? На них, вероятно, можно научиться и замысловатые фигуры проделывать и даже через препятствия прыгать.

Но ведь многое в спорте, если так рассуждать, можно считать анахроничным, нерациональным, нецелесообразным. Зачем быстро бегать, если есть двигатели внутреннего сгорания, зачем высоко прыгать, коль изобретен лифт?

Спорт как бы символ детства: ребенок бегает и прыгает, не преследуя прагматической цели, но потому, что чувствует в этом естественную потребность.

Однако что заменит нам эту потребность? Я думаю, ничто. Как ничто не заменит общения с лошадью, грациозным и благородным существом, которое за много веков человек превратил в живой шедевр.

Больше скажу — общение с лошадью духовно обогащает нас с вами. И когда мы невольно словно очеловечиваем ее, сообщая свои черты, свой способ мышления, свои переживания (подобный антропоморфизм весьма распространен, я тоже отдала ему дань в моей повести) — это на пользу нам самим. Мы приучаемся к сопереживанию, к сочувствию живому, становимся душевно глубже и тоньше, мудрее, бережливее к миру, окружающему нас.

Спорт — детство человечества, но это не только и столько символ прошлого. Это символ будущего. Это мечта о гармонии — активная, действенная мечта. Это способ познания, постижения и компас на пути в грядущее.

Последнее из высказанных мною предположений читатель волен отнести к области научной фантастики. Но хочу представить мир, над которым бесшумно парят летательные аппараты, перенося людей на дальние, если нужно, расстояния с той скоростью, которая им необходима. По земле же человек передвигается только в седле лошади, неторопливо, пристально и восхищенно озирая прекрасную природу прекрасной планеты.

* * *

От автора литературной записи. С момента опубликования в «Огоньке» записок Петушковой прошло больше полугода, и вот я снова сажусь напротив Елены Владимировны с блокнотом и ручкой — беру интервью.

— Что изменилось в вашей жизни за прошедшее время?

— По-моему, ничего. Во всяком случае, я думаю, ничего существенного для читателей, — отвечает она в своей обычной несколько извиняющейся, грациозно скромной манере. А дальше выясняется, что событий было немало. Наша команда с участием Петушковой заняла второе место на первенстве Европы в датском городе Орхусе. Это успех, которого мы уже давненько не знали. И в верном Абакане, сыне Абсента, открылись для всадницы новые черты.

Он заболел, у него были колики, он валился наземь, закрывал голову, бил задними ногами. Никто, даже ветеринар, не мог понять, что с ним. А замены полноценной ему не было.

— И вот, несмотря ни на что, — говорит Петушкова, — в манеже он, худой, как щепочка, работал честно и добросовестно.

Словом, он не подвел команду — ни Ирину Карачеву, выступавшую на спокойном и уравновешенном рыжке арабо-тракене Саиде, которого подготовил и великодушно отдал ученице ее тренер Виктор Угрюмов, тоже участник команды — он ехал на темно-гнедом Шквале.

Угрюмов, по рассказам Петушковой, — человек, беспредельно преданный конному спорту и лошадям. Он отправился в Данию в том фургоне, в котором везли лошадей, хотя спортсменов обычно освобождают от этой весьма утомительной поездки с ночевками в чистом поле; он в Орхусе и поселился прямо на конюшне, не доверяя четвероногих питомцев даже конюху — собственному ученику...

Тут мы отвлекаемся от спорта, и я спрашиваю Елену Владимировну, что нового в ее научной деятельности.

И снова она застенчиво говорит, что, пожалуй, ничего.

— Ставишь опыты, пишешь статьи... Движение к цели? Оно видно только посвященным — тем, кто сам занимается данной

проблемой. Миазины — задача, которой, в принципе, можно посвятить всю жизнь. В море методов, в океане результатов надо найти свой путь, не повторяющий ничей другой.

...Что еще? Моей Владе уже пять лет, пора приобщать ее к спорту. Пока, очевидно, ей доступны только плавание и художественная гимнастика... Но я не принадлежу к тем спортивным родителям, которые непременно хотят видеть в детях свое продолжение. Нет, я думаю, чуть повзрослев, Влада выберет себе путь сама. И вообще, мне бы не хотелось, чтобы она стала настоящей спортсменкой. Лучше бы просто — для здоровья. Но это, повторяю, будет зависеть от нее.

...Да, вот еще что. Я открыла для себя способ воскресного отдыха — увлеклась горными лыжами. Равнинных я никогда не любила, мерно скользить по лыжне, любуясь пейзажами, — это не по мне, и я лет, наверное, уже пятнадцать на них не становилась. А в горных лыжах есть острота ощущений, азарт...

Собираюсь обязательно приобщить к ним дочку. А то ведь я совсем мало ее вижу: ухожу, когда она спит, прихожу, когда ей пора спать, в остальное время она с бабушкой...

— Вернемся к спорту. Вы выступаете на Спартакиаде?

— Обязательно, как же иначе?

— А в Олимпиаде собираетесь?

— Время покажет.

Литературная записка С. ТОКАРЕВА.